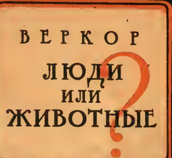

ВЕРКОР
ЛЮДИ
ИЛИ
ЖИВОТНЫЕ

И * Л

Издательство
иностранной
литературы

*

VERCORS

Les animaux dénaturés

PARIS · 1952

ВЕРКОР

Люди или животные?

РОМАН

С послесловием автора

Перевод с французского

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1957

Перевод
Г. САФРОНОВОЙ и Р. ЗАКАРЬЯН
Редактор *Н. ЖАРКОВА*
Предисловие *К. НАУМОВА*
Художник *Г. КРАВЦОВ*

Веркор и его роман „Люди или животные?"

В 1942 году в Париже вышла в свет повесть «Молчание моря» — маленькая книжечка, выпущенная никому дотоле не известным «Полночным издательством» и подписанная неким Веркором. Все в этой книге было необычайным и знаменательным: и название издательства, возникшего в подполье в глухую ночь немецко-фашистской оккупации, и псевдоним автора, который вскоре стал ассоциироваться с героической борьбой партизан, покрывших себя неувядаемой славой в боях против немецких захватчиков в горах Веркор, на юго-востоке Франции, и прежде всего, конечно, само содержание повести, написанной к тому же так талантливо, с таким зрелым мастерством, что это заставляло многих приписывать ее перу того или другого из признанных и маститых французских писателей старшего поколения. Но если иные из этих маститых в те черные дни позорно проповедовали, как Жан Жионо, что «лучше быть живым трусом, чем мертвым героем», или, как Анри де Монтерлан, прославляли гитлеровцев, или же в безопасном отдалении предавались историческим изысканиям и писали снобистские эссэ, то автор «Молчания моря», напротив, занял по праву почетное место в ряду писателей французского движения Сопротивления.

«Писатель должен быть прежде всего смелым и при всех обстоятельствах говорить то, что думает, какой бы ни была расплата за его откровенность. Таков первый догмат веры моей профессии»,— писал впоследствии Веркор, никогда не изменявший этому «догмату веры». В «Молчании моря», своей первой книге, он имел смелость сказать во всеуслышание, что несет Франции и французской культуре фашистское господство, которое всячески пытались облагородить в глазах французов подручные гитлеровского провокатора Абеца.

Воспитанный, вежливый и интеллигентный немецкий офицер Вернер фон Эбренак, квартирующий в доме француза, от имени которого и ведется повествование, развивает по вечерам перед ним и его племянницей свою концепцию франко-немецкого единения. Он уверяет — и по-видимому, искренне верит,— что французы должны отбросить свое естественное «предубеждение» против оккупантов, что Франция и Германия отныне могут и должны не сражаться, а «сочетаться», как сочетаются в сфере искусства французская литература и немецкая музыка, что между ним, Вернером фон Эбренаком, композитором в мундире офицера вермахта, и его хозяевами, вынужденными выслушивать эти излияния, может быть достигнуто взаимное понимание и, более того, подлинная духовная близость. Но все его речи остаются нескончаемым монологом, ибо ответом ему служит одно лишь «свинцовое молчание», поистине патетичное молчание, которое красноречивее всяких слов говорит о том, что нет и не может быть единения между палачом и жертвой. Но вот, вернувшись из Парижа, куда он ненадолго уезжал и где он имел наивность высказать те же взгляды своим соотечественникам и сослуживцам, Вернер фон Эбренак признает, что все, о чем он прежде говорил и на что надеялся, лишь иллюзия и ложь. Там, в Париже, ему ответили: «Мы не сумасшедшие и не простаки. У нас есть возможность уничтожить Францию, и она будет уничтожена. Мы уничтожим не только ее мощь, но и ее душу. Прежде всего ее душу, потому что в ней для нас главная опасность. В этом и состоит наша работа в настоящий момент, не обманывайтесь на этот счет, мой дорогой! Мы растлеваем Францию нашими улыбками и церемониями. Мы сделаем из нее суку, ползающую перед нами на брюхе... Это для нас вопрос жизни и смерти: силы достаточно для того, чтобы завоевать, но не для того, чтобы господствовать...»

Маленький шедевр Веркора проникнут таким обличительным пафосом и благородная непримиримость французских патриотов нашла в нем столь адекватное выражение, что «Молчание моря» еще в годы войны буквально облетело Францию. Но лишь после освобождения стало известно настоящее имя его автора. Это был художник Жан Брюллер, в сорок лет сменивший палитру на перо.

Инженер по образованию, талантливый график, получивший до войны широкую известность в художественных кругах своими альбомами рисунков, столяр по профессии, при-

обретенной в годы оккупации, чтобы не печататься при немцах, писатель по призванию, выдающийся общественный деятель, человек поистине энциклопедических знаний, натура кипучая и богато одаренная, Веркор отдает весь свой многогранный талант борьбе за одушевляющие его высокие гуманистические идеалы.

В одной из своих статей Веркор сказал: «Я пишу, чтобы разоблачать ложь и несправедливость. Я пишу также для того, чтобы попытаться помочь моим читателям найти смысл их жизни».

И действительно, продолжая славную традицию, идущую от Вольтера, разоблачившего дело Каласа, от Виктора Гюго, разоблачившего преступления Наполеона III, от Золя, разоблачившего дело Дрейфуса, Веркор в своих первых произведениях гневно клеймил ложь и предательство вишистского правительства, «чтобы поднять общественное мнение Франции против ужасных злодеяний, направленных против коммунистов, евреев и всех жертв нацизма», а после войны в своих многочисленных речах и статьях, позднее вошедших в сборники публицистических работ «Песок времени», «Шаги на песке» и другие, продолжал ту же деятельность, неустанно разоблачая войну в Индокитае, несправедливое осуждение Анри Мартэна, казнь Розенбергов, провокационный арест Жака Дюкло, Андре Стиля и других деятелей компартии и рабочего движения, борясь против возрождения немецкого вермахта и подготовки новой войны.

С другой стороны, стремясь «помочь своим читателям найти смысл их жизни», Веркор в своих романах поднимает и пытается разрешить те общие проблемы, «которые жизнь ставит перед людьми, какова бы ни была их страна и ее общественный строй», ибо, как замечает писатель, литература, которая закрывала бы глаза на такие испытания, как смерть любимых существ, старость, несчастная любовь, не была бы ни полной, ни реалистической. И первой, важнейшей из этих общих проблем, лежащих в основе произведений Веркора, является проблема единства человечества перед лицом природы, которая не раскрывает сама своих тайн и обрекает человека, пока они не раскрыты, на бесполезные страдания и преждевременную смерть, перед лицом всего того звериного, бесчеловечного, что воплощает в себе фашизм, и прежде всего — перед лицом войны. Так публицистика Веркора смыкается с его художественными произведениями, со-

циальные проблемы в его творчестве — с проблемами общечеловеческими, его деятельность писателя — с деятельностью борца за мир.

Художественное творчество Веркора можно пока условно разделить на два этапа. К первому из них, помимо «Молчания моря», о котором мы уже говорили, относятся «Шествие со звездой» и «Оружие мрака».

В повести «Шествие со звездой» (1943 г.), где явственно чувствуются автобиографические мотивы, Веркор рисует образ эмигранта, венгерского еврея Томаса Мюрица, который двенадцатилетним подростком, после самоубийства своего двоюродного брата, покидает родину и семью, довольно обеспеченную и благополучную, и почти без гроша в кармане пешком добирается до Франции — страны свободы и справедливости, как он узнал от своих близких и из книг, поглощавшихся им со страстным интересом. «Видишь этого мальчугана? — сказал жене хозяин трактира, в котором Мюриц остановился позавтракать.— Он с Дуная. Он все оставил там: мать, состояние. И знаешь почему? Потому что Франция свободная страна.— И, обращаясь к мальчику, добавил: — Но заметь себе, что если Франция — оплот справедливости, то мы ее солдаты. Чтобы защищать справедливость, нас никогда не будет достаточно. Если ты пришел сюда, чтобы стать таким солдатом, добро пожаловать». И Мюриц, в котором можно узнать отца самого Веркора, приняв французское подданство, становится гражданином и патриотом этой прекрасной страны. Мы вновь встречаемся с ним спустя полстолетия, в годы немецкой оккупации и вишистского режима. Глубокий старик, он согласно распоряжению властей носит теперь на груди, как позорное клеймо, желтую шестиконечную звезду — знак его еврейского происхождения, но все еще отказывается поверить, что Петэн (маршал Франции!) — изменник родины и приспешник фашистов. И только в последние минуты своей жизни, когда французские полицейские именем «французского государства» отправляют его на расстрел вместе с другими заложниками, он наконец постигает страшную истину: Франция, которая была для него больше чем отечеством и которую он любил юношески страстной и нежной любовью, предана, поругана, распята.

«Шествие со звездой», также выпущенное в подполье «Полночным издательством», проникнуто подлинным патриотизмом, который неотделим от свободолюбия и несовме-

стим с национализмом в какой бы то ни было форме, и потому непосредственно примыкает к «Молчанию моря».

Повесть «Оружие мрака» вышла в свет уже после освобождения Франции, в 1946 году. Это «рассказ о самом черном преступлении, какое только можно замыслить: об убийстве человеческой души». Гитлеровская Германия разгромлена. Герой повести Пьер Канж, активный участник движения Сопротивления, арестованный гестаповцами и после чудовищных пыток и издевательств отправленный в лагерь смерти в Хохсворт, возвращается на родину. Он снова встречает своих друзей, товарищей по борьбе, любимую женщину, но, словно глухой стеной, его что-то отгораживает, отчуждает от них. Искалеченный физически, он чувствует себя еще и прокаженным, который никому не вправе подать руки. Лишь спустя некоторое время Канж рассказывает одному из прежних друзей свою трагическую историю. На допросах в фашистском застенке Пьер не проронил ни слова, и не только из верности своему патриотическому долгу и своим товарищам, чья жизнь зависела от его стойкости, но и потому, что сознавал главную цель истязаний, которым подвергали его фашисты: они хотели морально сломить свою жертву, низвести ее до уровня животного, заставить себя презирать. «Разве я не знал,— говорит Пьер,— что им нужно непрестанно, каждодневно доказывать самим себе, что человек достоин презрения? А разве может быть более убедительное доказательство этого, чем низведение благородного существа на последнюю ступень гнусности?» И Пьер с честью выходит из этой жестокой борьбы за свою душу, за свое человеческое достоинство. Не менее упорно он ведет ее и в концентрационном лагере Хохсворта. Но уже накануне освобождения, когда гитлеровцы, довершая свои злодеяния, уничтожают заключенных, выживших в лагере, один из эсэсовцев заставляет Пьера бросать в кремационную печь трупы удушенных в газовой камере. Среди них Пьер видит и своего товарища, который еще дышит и даже как будто улыбается ему слабой улыбкой, но озверевший фашист приказывает бросить в печь и умирающего, угрожая Пьеру в противном случае сжечь заживо его самого. И вот совершается непоправимое: опаленный пламенем печи, охваченный животным ужасом, потеряв на миг способность к сопротивлению, Пьер повинуется и с этой минуты погружается в душевную прострацию. Ни друзья, ни женщина, которая его по-прежнему лю-

бит, не могут вывести его из этого состояния: он чувствует, что «утратил свою внутреннюю чистоту — качество, делавшее его человеком».

«Оружие мрака» исполнено страстной, испепеляющей ненависти к фашизму, который «расчеловечивает» человека и по отношению к которому, по выражению Веркора, «есть место лишь огню и мечу». Вместе с тем в том приговоре самому себе, который произносит Пьер Канж, в его глубоко трагическом осознании своего поражения, своей утраты, содержится утверждение высокой ценности и красоты подлинно человеческого в человеке,— мотив, близкий к горьковскому «Человек — это звучит гордо».

Вышедший в 1951 году роман Веркора «Могущество света» является прямым продолжением (а в некотором смысле и антитезой) «Оружия мрака» и в то же время посредствующим звеном между произведениями первого цикла и собственно философскими романами и новеллами последних лет. Это тоже история Пьера Канжа,— история долгих и мучительных исканий, благодаря которым он в конце концов преодолевает свое отчаяние и обретает самого себя. В финале романа Пьер осознает, что подлинная человечность в высшем смысле слова, в смысле исключительного и неотъемлемого качества человека, не достигается единичным актом, каким бы прекрасным и благородным ни был этот акт, и не утрачивается в результате единичного жеста, каким бы ужасным ни был этот жест. Человека делает человеком неустанная борьба против врага, которого Пьер называет «Тигром», и только тот, кто дезертирует, оставляет эту борьбу или переходит на сторону «Тигра», предает человечество и становится изгоем, отщепенцем. «Тигр» — это «бесстрастная и беспредельная тирания» стихийных сил природы, это «холод, рак, убийцы», но это также наша слабость, наше ослепление, наши животные инстинкты. В борьбе против всего этого и заключается подлинное величие человека. И Пьер борется, борется всеми силами души против франкистов рука об руку с испанскими партизанами, против своей болезни рука об руку с врачами и с любимой женщиной, словом — против «Тигра» рука об руку со всем человечеством.

В настоящей статье не представляется возможным подробнее остановиться на этом романе, во многом спорном и подвергавшемся справедливой критике во французской прогрессивной печати. Отметим только, что в «Могуществе

света» уже в полной мере дает себя знать и тот вкус к широким обобщениям, который представляет одно из величайших достоинств Веркора, но вместе с тем и та абстрактность в трактовке моральных проблем, которая нередко обращает это достоинство в его противоположность.

По поводу памфлета Виктора Гюго «Наполеон Маленький», этого обвинительного акта против Людовика Наполеона, Маркс писал в своем предисловии ко второму изданию «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», что писатель не понял исторических причин государственного переворота и вопреки своей воле исказил роль личности Наполеона III: «Самое событие изображается у него, как гром из ясного неба. Он видит в нем лишь насильственное деяние одного человека. Он не замечает, что возвеличивает этого человека, вместо того, чтобы умалить его, приписывая ему беспримерную во всемирной истории мощь личной инициативы».

Примерно то же самое произошло и с Веркором при трактовке фашизма. Абстрагируясь от его социально-исторического содержания, приравнивая его к враждебным человеку слепым силам природы, Веркор, по существу, делает его проявлением некоего извечного, чуть ли не космического зла. Мы увидим далее, что эта аберрация не случайна: в ней сказывается известная ограниченность творческого метода Веркора.

Ко второму этапу творчества писателя относятся романы «Люди или животные?» (1952 г.), «Гнев» (1956 г.), а также вышедший еще в 1948 году сборник новелл «Глаза и свет», которому в последующих изданиях автор предпослал предисловие и эпилог, весьма важные для понимания его идейного замысла. Мы ограничимся здесь разбором первого из этих произведений, наиболее яркого и значительного.

Роман «Люди или животные?» принадлежит собственно столько же к художественной, сколько к философской литературе, и в этом отношении Веркор продолжает давнюю традицию, идущую от Вольтера, Дидро, Анатоля Франса.

Забавный, немножко старомодный подзаголовок гласит, что первая глава романа, согласно канонам детективного жанра, «начинается с обнаружения трупа, правда, трупа совсем крошечного, но озадачившего всех», глава вторая дополняет «краткую историю одного преступления краткой историей одной любви», еще через две главы читатель сопровождает путешественников, пробирающихся через дев-

ственные леса в одно из последних «белых пятен» на карте мира, и вдруг, столкнувшись с детски простым и тем не менее, по-видимому, неразрешимым вопросом о том, как отличить животное от человека,— вопросом, определяющим все последующее развитие сюжета,— неожиданно обнаруживает, что он читает философский роман. И как ни странно, это сочетание самых различных жанровых элементов нисколько не нарушает внутренней цельности романа.

Конечно, «Люди или животные?» не относятся к тем произведениям, где идея, так сказать, вырастает из жизненного материала, как кристалл из раствора, то есть раскрывается как сущность и смысл изображенных автором жизненных явлений. Напротив, фабульный материал здесь как бы сконструирован в соответствии с «наперед заданным» тезисом, который он призван иллюстрировать и развивать.

Веркор последовательно ставит своих героев в такие обстоятельства, при которых изначально выдвинутая проблема определения человека всякий раз обостряется и получает новое выражение. Проводники-папуасы убивают и поедают тропи, сопровождая свои пиршества ритуальными плясками, и проблема эта приобретает для Дугласа Темплмора актуальность моральной альтернативы: если тропи — люди, то папуасы повинны в каннибальстве и долг цивилизованного человека воспрепятствовать ему, но если тропи — обезьяны, то европейцы не вправе мешать папуасам охотиться на них, как на всякую иную дичь. За тропи наблюдает ученый бенедиктинец отец Диллиген, и та же проблема наполняется религиозным содержанием: если тропи — люди, то долг священника их окрестить, дабы очистить от первородного греха и спасти в будущей жизни, но если они — обезьяны, то их крещение было бы чудовищным кощунством. Капиталист Ванкрайзен предпринимает свою аферу, и вопрос о принадлежности тропи к местному населению или к фауне (а значит, опять-таки проблема определения человека) переносится в плоскость международного права. Наконец, суд над Темплмором связывает воедино моральный, политический, правовой, научный и прочие аспекты этой проблемы и делает ее насущной, животрепещущей, требующей безотлагательного решения. Но если в такой композиции романа, как и в исходной ситуации, легко усмотреть известную «придуманность», нарочитость, искусственность, то она имеет свое оправдание в самой специфике жанра, и ее так же нельзя ставить в вину Веркору, как

нельзя предъявлять подобный упрек, скажем, Вольтеру, который в своем «Кандиде» подвергает Панглоса, этого философствующего тупицу, самым невероятным злоключениям, чтобы показать всю несостоятельность и бесплодность его прекраснодушного оптимизма.

С другой стороны, эта искусственность, так сказать, иронически преодолевается Веркором, обращаясь в условность, вполне правомерную в философском романе. Так, например, «отклонение в сторону на 80 миль приводит экспедицию как раз в то место, куда хочется автору»,— читаем мы в подзаголовке пятой главы, и уже одна эта фраза снимает необходимость в иллюзии достоверности, которую необходимо было бы создать у читателя, если бы путешествие экспедиции Грима имело в романе самодовлеющее значение.

Веркор, понятно, не ставил перед собой задачи отразить английскую действительность нашего времени. Действие романа с равным успехом могло бы развертываться не в Англии и Новой Зеландии, а, скажем, во Франции и Экваториальной Африке,— его проблематика, да и структура ни в чем существенном от этого не изменилась бы. Но раз приняв определенные, хотя и условные, координаты, писатель мастерски использует заложенные в них возможности для меткой и остроумной сатиры на британский парламентаризм, на «святилище правосудия», на политиканов, изощренных в искусстве лицемерия, компромиссов и закулисных сделок. Разве не шедевр своего рода, например, объяснение лорда хранителя печати с судьей Артуром Дрейпером, сотканное сплошь из намеков, обиняков и умолчаний? И разве не блестящую, поистине вдохновенную речь произносит в парламенте тот же лорд хранитель печати, разглагольствуя о высокой миссии Великобритании, явившей миру образец демократии, о провидении, избравшем своим орудием достопочтенных членов палаты общин, о незыблемых основах права и справедливости и думая при этом об интересах «определенных кругов», связанных с текстильной промышленностью. А чего стоят заседания комиссии Саммера, члены которой во всем усматривают «большевистский материализм» и бунтарские тенденции, не говоря уже о митинге Общества друзей животных, дискуссии высокоученых экспертов на суде, газетной шумихе и т. д. и т. п.

«Люди или животные?» — менее всего психологический роман, и душевной жизни своих героев вне прямой связи с главной проблемой Веркор отводит третьестепенное место.

Но тем не менее в романе явственно ощущается лирическая струя и та свежесть и поэтичность чувств, которая сквозит в особенности в любви Дугласа и Френсис, накладывает свой отпечаток даже на лондонский пейзаж, как бы увиденный их глазами.

В романе Веркора больше силуэтов, чем полнокровных образов, и это тоже объясняется главным образом той особой задачей, которая ставится перед ним как перед «романом воззрений». Но, быть может, именно поэтому здесь, как нигде более, сказывается вкус Веркора к точной и лаконичной характеристике, к скупым, но выразительным штрихам, а подчас и к шаржу, как бы созданному одним движением карандаша. Напомним хотя бы об уснувшей в автомобиле Дерри, на лице которой «застыло выражение кроткой печали и настороженной жестокости», о леди Дрейпер с ее аристократическими манерами, о бравом отставном полковнике, предлагавшем положить в основу определения человека половые извращения, или о профессоре Нааче.

Как уже сказано, отмеченные художественные особенности романа, которыми, конечно, не исчерпывается его своеобразие, во многом определяются спецификой жанра. Однако, с другой стороны, они тесно связаны с самой проблематикой романа «Люди или животные?», с идейным замыслом писателя, к которому мы и должны теперь обратиться.

Когда в конце прошлого века по заведомо ложному обвинению в шпионаже, сфабрикованному французской реакционной военщиной, безвестный офицер Дрейфус был приговорен к пожизненной каторге, на его защиту поднялись все прогрессивные силы не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Когда в Соединенных Штатах начался позорно знаменитый процесс над рабочими-революционерами Сакко и Ванцетти, весь мир охватило мощное движение протеста, не стихшее и после того, как 23 августа 1927 года они были казнены на электрическом стуле, хотя их невиновность была полностью доказана. Когда двадцать лет назад при поддержке Гитлера и Муссолини и предательском невмешательстве Франции и Англии франкисты подняли мятеж против Испанской республики, тысячи людей всех национальностей отправились в Испанию сражаться за ее свободу и независимость в рядах славных Интернациональных бригад. Когда в наши дни англо-французские империалисты попытались поставить на колени Египет, обрушив на него свою военную мощь, совесть и воля народов заставили

их отступить. И разве не великая солидарность простых людей мира, неизменно проявляющаяся с могучей силой в моменты подобных трагических событий, преграждает ныне дорогу войне? Высокая идея человеческой солидарности в ее философском аспекте и лежит в основе романа «Люди или животные?»

Показав в гротескно-заостренной форме, как реакционная буржуазия в лице Ванкрайзена пытается использовать в своекорыстных целях всякое новое открытие науки и как ее ученые прикасчики поставляют аргументацию для «научного» оправдания этих человеконенавистнических поползновений, Веркор в своем романе выступает прежде всего против теоретических основ, против самой методологии расизма, подменяющего единство человеческого рода иерархией рас как биологических видов. Веркор вскрывает глубокую порочность той концепции, выраженной в романе Джулиусом Дрекслером, которая рассматривает с зоологической точки зрения проблему, по существу своему выходящую за рамки зоологии, и, таким образом, скрадывает качественный скачок, прерывающий линию эволюции и отделяющий человека как существо, «вырвавшееся из природы», не только от человекообразных обезьян, но и от всего животного мира. И если определение человека, достигнутое комиссией Саммера, разумеется, отнюдь не может быть названо строго научным, то оно тем не менее содержит «рациональное зерно», которое и состоит прежде всего в молчаливом признании этого качественного скачка и в утверждении единства человечества при всем богатстве антропологических и культурно-исторических градаций.

Вместе с тем идея «человеческой солидарности» противопоставляется Веркором воинствующему индивидуализму и аморализму, низводящему человека до животного. Веркор стремится показать, что человек не свободен в том смысле, в каком понимается человеческая свобода во всякого рода волюнтаристских концепциях от ницшеанства до экзистенциализма. Человек не универсум в себе и для себя, он не творит своих собственных законов, а принадлежит к человечеству — не как к простой совокупности независимых субъектов, а как к великому сообществу — и связан общечеловеческими этическими нормами. Когда вопрос о тропи еще не решен, Френсис, жена Дугласа, во время свидания с ним сознается, что, если тропи будут признаны людьми, она уже не сможет любить Дугласа кристально чи-

стой любовью, ибо и она невольно будет считать его убийцей. «Я понимаю, что это возмутительно, условно до глупости, раз сам ты не изменишься. Ведь ты, ты останешься точно таким же, но, несмотря на все... от того, решат ли люди, что ты убил обезьяну или человека, все изменится, и я... я при всем желании не смогу заставить себя думать иначе, чем они!..» И Дуглас, взвесив эти слова, соглашается с ней: «...это доказывает, что убийство как таковое не существует. То есть, не существует само по себе. Поскольку все зависит не от того, что я сделал, а от того, что по этому поводу решат люди, и в том числе я и ты. Люди, Френсис, только люди. Род человеческий. И мы так глубоко солидарны с ним, что невольно думаем так же, как и он...»

Идея «человеческой солидарности» в известной мере близка к мысли Маркса о том, что «человек — это сознательное родовое существо, то есть, что он есть существо, которое относится к роду как своему собственному существу или относится к себе как к родовому существу» *. Однако эту близость отнюдь не следует преувеличивать. «Человеческая солидарность» в трактовке Веркора оторвана от своей практической основы, от реальных связей и отношений людей в процессе материального производства, тогда как «именно в обработке предметного мира человек проявляет себя действительным как *родовое* существо. Это производство есть его действенная родовая жизнь» **. Поэтому в романе «Люди или животные?» человеческая солидарность носит абстрактный и, можно даже сказать, формальный характер. В самом деле, нетрудно видеть, что если бы не Ванкрайзен, а более могущественные силы, скажем английские империалисты, были заинтересованы в признании тропи животными, то комиссия Саммера выработала бы несколько иное определение человека или не сочла бы возможным истолковать зачатки огнепоклонства у тропи как признак религиозного духа, и человеческая солидарность получила бы прямо противоположное выражение, а тропи на столь же законном основании были бы превращены в рабочий скот. Но если так, то человеческая солидарность оказывается по существу лишь идеальной причастностью к общечеловеческому разуму, который в свою очередь остается голой абстракцией.

* К. Маркс, Ф. Энгельс. Об искусстве, М.—Л., 1938 г., стр. 56.

** Там же, стр. 57.

Здесь сама собой напрашивается параллель между романом «Люди или животные?» и книгой Веркора «Глаза и свет». Герои новелл, входящих в нее,— во всем изверившиеся, замкнувшиеся в себе люди, которые находят бессмысленной всякую общественную деятельность, считают пустыми и смешными идейные принципы и моральные нормы и презирают «человеческий муравейник». Однако в решающий момент все они действуют, повинуясь не грубо эгоистическим стремлениям, которые признавались ими единственно правомерными и естественными, а моральному долгу, и в этом обретают сознание своей человеческой сущности и человеческого достоинства. Таков и Арно, герой новеллы «Безумец». Единственный принцип, который он признает, сводится к тому, чтобы избегать страдания в самом прозаическом смысле слова. И тем не менее, когда три партизана — бойцы Сопротивления — внезапно приходят к Арно и, «с жаром наболтав ему черт знает каких возвышенных глупостей», просят помочь им, он вопреки всему соглашается, и вот с автоматом в руках стоит на пригорке, прикрывая партизан, выполняющих опасное задание. Он убеждает себя покончить с «этим идиотством», оставить свой пост, уйти, и — остается. Его не удерживают идейные соображения («Мне наплевать на войну, наплевать на жизнь и смерть всех этих ничтожеств»); он не рискует подвергнуться осуждению («Если он уйдет, кто об этом узнает? Никто. Даже эти трое, на которых ему, черт их дери, наплевать!»); он не боится оказаться трусом в своих собственных глазах («Разве это слово имеет хоть какое-нибудь значение вне нашего сознания, вне смешных мозгов разъяренного муравья?»); его как будто не должно остановить и то обстоятельство, что партизаны ему доверились («Быки, бараны тоже нам доверяются, мы их ласкаем, мы их балуем, а в назначенный час режем на мясо»). И все-таки он остается, чувствуя, что его философия отчаяния и безразличия начинает рушиться, что почва, на которой он стоял, уходит у него из-под ног, несмотря на всю эту аргументацию. Он слышит, как приближаются немецкие машины, и ложится, решив дать лишь две-три очереди, чтобы предупредить партизан, и тут же скрыться, но стреляет до тех пор, пока его не ранят гранатами и не схватывают немцы. Он говорит себе, что, конечно, сознается во всем и выдаст партизан, чтобы избежать пыток, но молчит, упорно молчит. И тут наступает озаре-

ние. Арно вдруг чувствует, что он больше не изгнанник из космоса, что с него снято проклятие одиночества, что в нем победило нечто подлинно человеческое. «Конечно же — ни слова. Они мне доверились. Ни слова!» Арно гибнет в муках. Его изуродованный труп пригвожден к дверям амбара. Но сердца партизан, которые смотрят на этот труп, вернувшись два дня спустя на ферму, переполняются «любовью, ужасом, гневом и решимостью».

Веркор развивает здесь чисто формальное понимание нравственного закона, как безусловного, не зависящего ни от какого конкретного содержания подчинения велению категорического императива в кантовском смысле слова. Арно, оставаясь на своем посту вопреки инстинкту самосохранения, движим не патриотизмом, не ненавистью к оккупантам, не сочувствием делу Сопротивления, а лишь интуитивно осознанным долгом не обмануть доверия людей, ему совершенно чуждых и даже презираемых им. Следовательно, с равным успехом он мог бы оказаться не на стороне патриотов, а на стороне фашистов, если бы проблема доверия и связанного с ним морального обязательства получила иное выражение. Таким образом, и здесь проявляется та слабость творческого метода Веркора, о которой мы говорили выше.

Возвращаясь к роману «Люди или животные?», следует также отметить, что в интерпретации Веркора общепризнанность предстает критерием истинности. Все существенное по этому поводу уже сказано В. И. Лениным в его критике махистов, видевших в «общезначимости», «коллективном опыте», «социально организованном опыте» и т. д. основы объективности. Здесь укажем только, что в романе Веркора сама эта общепризнанность зиждется на столь шатком основании, как решение парламентской комиссии, которое оказывается, таким образом, истиной в последней инстанции.

Что касается приведенного выше определения человека, то было бы несправедливо приписывать его самому Веркору. Напротив, устами своих героев он называет это определение неудовлетворительным, неполным, компромиссным, инспирированным политиканами, которые «самый твердый кристалл способны превратить в медузу». Однако что же предлагают взамен «религиозного духа» Артур Дрейпер и Дуглас Темплмор, выражающие в основном идеи автора? Всего лишь «метафизический дух». Артур Дрейпер разъясняет в комиссии Саммера, что он под этим понимает:

«Разница между мышлением неандертальского человека и мышлением человекообразной обезьяны, вероятно, была количественно невелика. Но, надо полагать, в их отношениях с природой она была поистине огромной: животное продолжало бездумно подчиняться природе, человек же вдруг начал ее вопрошать... А для того, чтобы спрашивать, необходимо наличие двоих: вопрошающего и того, к кому обращены вопросы... Животное составляет единое целое с природой. Человек не составляет с ней единого целого. Для того, чтобы мог произойти этот переход от пассивной бессознательности к вопрошающему сознанию, необходим был раскол, разрыв, необходимо было вырваться из природы. Не здесь ли как раз и проходит граница? До этого разрыва — животное, после него — человек? Животные, вырвавшиеся из природы,— вот кто мы... Мы можем теперь объяснить, почему животные не нуждаются ни в мифах, ни в амулетах: им неведомо их собственное невежество. Но разве мог ум человека, вырвавшегося, выделившегося из природы, не погрузиться сразу же во мрак, не испытать ужаса? Он почувствовал себя одиноким, предоставленным самому себе, смертным, абсолютно невежественным — словом, единственным животным на земле, которое знает лишь то, что «ничего не знает»... Как же ему было не выдумывать мифов о богах или духах, чтобы оградиться от своего невежества, идолов и амулетов, чтобы оградиться от своей беспомощности? И не доказывает ли как раз отсутствие у животных таких извращающих действительность измышлений, что им неведомы и страшные вопросы?..»

Это — глубокое и во многом верное рассуждение. Человек действительно существо, выделившееся, или, если угодно, вырвавшееся, из природы в том смысле, что в отличие от животного он уже не представляет единства со своей жизнедеятельностью, а, напротив, делает свою жизнедеятельность объектом своей воли и своего сознания. Человек действительно «вопрошает» природу в том смысле, что в отличие от животного он не просто приспосабливается к ней, а познает ее законы, чтобы заставить их служить своим целям. И действительно, источник всякой мифологии состоит в том, что человек преодолевает и подчиняет силы природы в воображении, пока он не в состоянии познать их, а значит, и практически подчинить. Однако в этом рассуждении Веркор ставит человека лишь в теоретическое отношение к природе. Пережиток «метафизики» у него самого состоит здесь

в том, что, пытаясь установить рациональную границу между животным и человеком, он игнорирует момент становления, перехода, который и не может быть понят в отрыве от практики, ибо, как указывает Энгельс в «Диалектике природы», «существеннейшей и ближайшей основой человеческого мышления является как раз *изменение природы человеком*, а не одна природа как таковая, и разум человека развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу». Иначе говоря, «вначале было дело».

Далее, идея человеческой солидарности и человеческого сообщества парадоксальным образом не мешает Веркору в самом определении человека обходить его общественную природу. Но человека делает человеком совокупность общественных отношений, а не абстрактная «человеческая сущность», свойственная отдельному индивиду.

Наконец, определение это ставит в один ряд философию и религию, науку и магию, искусство и ритуальное людоедство, короче, живое дерево «живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного человеческого познания» *(В. И. Ленин)* и пустоцвет, растущий на этом дереве, чем подрывается сама идея прогресса, которую так горячо отстаивает Веркор *.

Но при всей шаткости некоторых теоретических посылок и построений Веркора роман «Люди или животные?» остается бесспорно значительным и талантливым произведением, проникнутым глубоко гуманистическими идеями.

---

* Читатель прочтет в конце книги интересное послесловие автора, в котором он, с одной стороны, возражает против некоторых ошибочных, по его мнению, толкований его произведений, а с другой — стремится подкрепить и теоретически обосновать свою концепцию человеческой солидарности, критически рассмотренную нами. Желание вполне естественное и правомерное. Заметим только, что примечание романиста, по остроумному выражению Бальзака, равняется честному слову гасконца. Раз появившись на свет, художественные произведения живут своей собственной жизнью, и писатель более не властен над ними. Мы судим о романах и новеллах Веркора не по тому, что он хотел сказать, а по тому, что в них сказано. И если его замысел порой расходится с воплощением, то это его беда. Что же касается тех общих положений, которые Веркор отстаивает в своем послесловии, говоря о «ничего не производящих народах», о «ритуальной философии», якобы определяющей национальное единство 300 миллионов индийцев, о некой «общей основе христианского и материалистического мировоззрения» и т. д. и т. п.,— то они, на наш взгляд, не выдерживают научной критики и с ними никак нельзя согласиться.

Его пафос — в апологии красоты и величия человеческих исканий, страданий, борьбы, в утверждении непреложности и высокого смысла поступательного исторического движения человечества. «Неужели вы думаете, что тропи будут счастливее, став людьми? Я, например, в этом глубоко сомневаюсь,— замечает леди Дрейпер, обращаясь к Френсис.— Жили они, не зная забот, а теперь их, наверное, начнут приобщать к цивилизации?.. И они станут лжецами, ворами, завистниками, эгоистами, скрягами... Они начнут воевать и истреблять друг друга... Нечего сказать, мы сделали им прекрасный подарок!» «Да,— отвечает Френсис,— прекраснейший подарок... В этом страдании, в этом ужасе — красота человека. Животные, конечно, гораздо счастливее нас: они не способны на подобные чувства. Но ни за какие блага мира я не променяю на их бездумное существование ни этого страдания, ни даже этого ужаса, ни даже нашей лжи, нашего эгоизма и нашей ненависти... После процесса нам по крайней мере стало ясно одно: право на звание человека не дается просто так. Честь именоваться человеком надо еще завоевать, и это звание приносит не только радость, но и горе. Завоевывается оно ценою слез. И тропи придется пролить еще немало слез и крови, пройти через раздоры и горькие испытания. Но теперь я знаю, знаю, знаю, что история человечества не сказка без конца и начала, рассказанная каким-то идиотом».

Сейчас, когда реакционная зарубежная литература проповедует моральный нигилизм, сеет отчаяние, оплевывает прогресс, мы особенно дорожим творчеством таких писателей, как Веркор, именно потому, что они остаются верными своему долгу, который состоит в том, чтобы «разоблачать ложь и несправедливость» и бороться за высокие гуманистические идеалы.

К. Наумов.

ВЕРКОР

Люди или животные?

Все несчастья на земле происходят оттого, что люди до сих пор не уяснили себе, что такое человек, и не договорились между собой, каким они хотят его видеть.

Д. М. Темплмор.
(«Животные или почти животные»)

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

которая, как положено, начинается с обнаружения трупа, правда, трупа совсем крошечного, но озадачившего всех. Гнев и изумление доктора Фиггинса. Полная растерянность полицейского инспектора Брауна. К их неудовольствию убийца настаивает на том, чтобы его привлекли к судебной ответственности. Первое появление Paranthropus'а

Согласитесь, что, если вас разбудят в пять часов утра (пусть даже как врач вы привыкли к таким ранним звонкам), вряд ли это настроит вас на юмористический лад. А потому нет ничего удивительного, что доктор Фиггинс, поднятый на ноги ни свет ни заря, совсем по-иному отнесся к событиям, которые наверняка развеселили бы и меня и вас после хорошего завтрака в постели. Даже вид Дугласа Темплмора усугублял комизм этого совершенно невероятного происшествия, хотя Дуглас являл собой зрелище скорее трагическое, и не без основания; что же касается доктора Фиггинса, то все это настроило его на еще более мрачный лад, так же как и, мягко выражаясь, необычный покойник, которого ему пришлось осмотреть. Ибо в этой истории речь сразу же пойдет о покойнике. Простите за слишком банальное начало, но в этом, право, не моя вина.

Впрочем, надо оговориться, труп был совсем крошечный. И понятно поэтому, что доктор Фиггинс, который за свою многолетнюю практику видел столько разных трупов — и больших и маленьких,— взглянув на этот, сначала даже ничуть не удивился. Он только на мгновенье наклонился над колыбелькой, а затем, выпрямившись, посмотрел на Дугласа, и лицо его приняло, если можно так сказать, профессиональное выражение. То есть каждой своей морщинкой он сумел мастерски показать, что понимает всю тяжесть этой минуты, сочувствует Дугласу, но не может не осуждать его. Несколько минут длилось красноречивое молчание, потом густые усы доктора зашевелились, и он произнес:

— Боюсь, что вы вызвали меня слишком поздно...

При этих словах он не без некоторого раздражения

вспомнил, как рано его разбудили сегодня. Но Дуг в ответ лишь наклонил голову и сказал бесстрастным голосом:

— Я хотел, чтобы вы именно это констатировали.

— Простите?

— Ребенок умер, я полагаю, минут тридцать пять — сорок тому назад?

Тут уж доктор Фиггинс позабыл не только о том, что ему не дали сегодня выспаться, но и вообще обо всем на свете; каждый волосок его густых усов заходил от слишком бурного негодования.

— Черт побери, но почему же в таком случае вы не вызвали меня раньше?

— Вы не совсем меня поняли,— ответил Дуг.— Я ввел ему большую дозу стрихнина.

Доктор попятился, опрокинул стул, пытался его подхватить и не сумел удержать довольно-таки глупого восклицания:

— Но ведь это же убийство!

— Вот именно,— согласился Дуг.

— What the devil! * Но почему же... Как вы могли...

— С вашего разрешения, я объясню вам все несколько позже.

— Надо немедленно сообщить в полицию,— проговорил доктор в сильном волнении.

— Я как раз собирался просить вас об этом.

Фиггинс дрожащей рукой поднял трубку, назвал номер полицейского участка Гилдфорд, вызвал к телефону инспектора и, овладев собой, спокойно попросил прислать кого-нибудь в Сансет-котедж установить факт преступления, совершенного над новорожденным.

— Детоубийство?

— Да. Отец мне уже во всем сознался.

— Черт возьми! Смотрите же, чтобы он не удрал!

— Мне кажется, он и не думает удирать.

Доктор повесил трубку и снова подошел к ребенку, приподнял его веки, открыл рот.

Его удивили уши ребенка, слишком высоко посаженные, очень маленькие, почти без мочек, но он ничего не сказал, видимо, не придав этому особого значения.

Открыв чемодан с инструментами, он собрал на кусочек ваты всю имеющуюся во рту ребенка слюну. Ватку положил

* Что за черт! *(англ.)*

в маленькую коробочку и снова закрыл чемодан. Затем он тяжело опустился в кресло напротив Дуга. Все это время Дуг сидел неподвижно. Так, молча, просидели они до самого прихода полиции.

Инспектор оказался очень любезным, благовоспитанным и застенчивым светловолосым молодым человеком. Допрашивал он Дугласа мягко и даже почтительно. Задав ему несколько вопросов, чтобы установить личность преступника, он спросил:

— Вы являетесь отцом ребенка, не так ли?

— Да.

— Ваша супруга у себя?

— Да, если вы хотите, я могу позвать ее.

— О нет,— ответил инспектор.— Мне не хотелось бы беспокоить роженицу. Я сам пройду к ней немного погодя.

— Боюсь, что я ввел вас в заблуждение,— заметил Дуглас.— Это не ее ребенок.

Инспектор заморгал своими белесыми ресницами. Прошло немало времени, прежде чем он понял.

— О!.. Well *... Но мать ребенка тоже здесь?

— Нет,— ответил Дуглас.

— А... а где же она?

— Ее вчера отвезли обратно в зоопарк.

— Она там служит?

— Нет, ее там содержат.

Инспектор вытаращил глаза.

— То есть как?

— Видите ли, его мать, собственно говоря, не женщина. Это самка вида «Paranthropus Erectus».

Врач и инспектор с минуту стояли молча, тупо уставившись на Дуга, потом украдкой и с беспокойством переглянулись.

Дуг не смог сдержать улыбки.

— Если вы, доктор, более внимательно осмотрите ребенка, то, конечно, обнаружите явные отклонения от нормы.

Поколебавшись секунду, доктор решительным шагом подошел к колыбельке, откинул с маленького тельца одеяло и развернул пеленки.

— Damn! ** — только и смог произнести он, с яростью хватая чемодан и шляпу.

---

* Хорошо *(англ.)*.

** Проклятие! *(англ.)*

Волнение врача передалось инспектору.

— В чем дело? — спросил он, быстро подходя к колыбельке.

— Это же не мальчик,— ответил врач.— Это же обезьяна.

— Вы в этом совершенно уверены? — как-то странно спросил Дуглас.

Фиггинс покраснел до корней волос.

— То есть как, уверен ли я? Господин инспектор, нас с вами самым глупейшим образом мистифицируют. Не знаю, как вы, но я...

И, не закончив фразы, он решительно направился к выходу.

— Простите, доктор. Одну минутку! — проговорил Дуглас тоном, не допускающим возражений. И, вынув из письменного стола какую-то бумагу, он протянул ее инспектору. Это был бланк Королевского колледжа хирургии.— Прочтите, пожалуйста.

Не без колебаний доктор взял бумагу и надел очки.

«Я, нижеподписавшийся, Э. К. Вильямс, член Королевского колледжа хирургии, кавалер ордена Британской империи, доктор медицины, удостоверяю, что сегодня в 4 часа 30 минут утра принял физически нормального ребенка мужского пола у самки человекообразной обезьяны, прозванной Дерри и принадлежащей к виду «Paranthropus Erectus». 19 декабря 19... года в Сиднее в научных целях мною было произведено искусственное оплодотворение этой самки; своим появлением на свет новорожденный обязан Дугласу М. Темплмору».

Глаза доктора Фиггинса, и без того готовые выпрыгнуть из орбит, приняли такие невероятные размеры, что Дуг подумал: «Сейчас лопнут». Не говоря ни слова, доктор протянул бумагу полицейскому инспектору, посмотрел на Дугласа так, словно перед ним был призрак Кромвеля, и снова подошел к колыбельке.

Еще раз внимательно осмотрев ребенка, он перевел полный изумления взгляд на отца, потом снова посмотрел на ребенка и опять на Дуга.

— Никогда не слышал ничего подобного,— глухо пробормотал он.— Что это за Paranthropus Erectus?

— Пока о нем еще ничего не известно.

— То есть как?

— Это нечто вроде человекообразной обезьяны. Около

тридцати таких экземпляров недавно доставлено в Антропологический музей. Там их как раз сейчас изучают.

— Но вы-то, вы-то...— начал доктор и, не договорив, снова подошел к колыбельке.

— Нет, это все-таки обезьяна. У нее четыре руки,— произнес он с явным облегчением.

— Не слишком ли поспешный вывод? — мягко заметил Дуглас.

— Четвероруких людей не бывает.

— А вы представьте себе, доктор, ну хотя бы железнодорожную катастрофу... Вот давайте закроем ему ножки... перед нами просто маленький мертвый ребенок с отрезанными ножками... Вы и теперь настаиваете?

— У него слишком длинные руки,— ответил доктор после минутного раздумья.

— Ну, а лицо?

Врач поднял на Дуга растерянный взгляд: он был в полном замешательстве.

— А уши? — наконец нашелся он.

— Подумайте только, доктор,— произнес Дуглас,— что через несколько лет он мог бы научиться писать, читать, решать арифметические задачи.

— Теперь, когда мы ничего уже не узнаем, предполагать можно все что угодно,— отпарировал Фиггинс, пожимая плечами.

— Нет, почему же, вполне вероятно, мы все это еще узнаем. У него есть братья. Двое уже родились в зоопарке от других самок. Еще трое должны вот-вот появиться на свет...

— Ну, вот тогда и будем...— пробормотал доктор, вытирая пот со лба.

— Что будем?

— Ну, изучать... решать...

Подошел инспектор. Он быстро-быстро моргал своими белесыми ресницами.

— Мистер Темплмор, что же в таком случае вы хотите от нас?

— Я хочу, чтобы вы выполнили свои обязанности.

— Но о каких обязанностях может идти речь? Это маленькое существо — обезьяна. Это совершенно ясно. Какого же черта вы хотите...

— Это мое дело, инспектор.

— Да уж не наше...

— Я убил своего ребенка, инспектор.

— Я понимаю, но этот... это маленькое существо, оно не... оно не является...

— Его крестили, инспектор, и он зарегистрирован в мэрии под именем Джеральда-Ральфа Темплмора.

Лицо инспектора покрылось мелкими каплями пота. Вдруг он спросил:

— А под каким именем записана мать?

— Под ее собственным: «Туземка из Новой Гвинеи, прозванная Дерри».

— Ложное показание! — торжествующе воскликнул инспектор.— Этот акт гражданского состояния не имеет силы.

— Ложное показание?

— Мать не является женщиной.

— Ну, это еще надо будет доказать.

— Как доказать? Вы же сами говорили...

— По этому вопросу существуют различные точки зрения.

— Различные! Но по какому вопросу? Какие точки зрения?

— Точки зрения крупнейших антропологов по вопросу о том, к какому виду следует отнести Paranthropus'ов. Это промежуточный вид. Кто они, люди или обезьяны? У них много общего и с теми и с другими. В конце концов вполне возможно, что Дерри женщина. Пожалуйста, докажите обратное. А пока что ее ребенок — мой сын перед богом и перед законом.

У инспектора был такой растерянный вид, что Дугласу даже стало жаль его.

— Может быть, вы хотели бы посоветоваться со своим начальством? — любезно предложил он.

Бесцветное лицо инспектора просветлело.

— О да, мистер, если вы разрешите.

Инспектор поднял трубку и вызвал полицейский участок Гилдфорд. Он невольно с благодарностью улыбнулся Дугу. А доктор подошел к Дугу и спросил:

— В таком случае... если я вас правильно понял... вы скоро станете отцом еще пяти таких обезьянок?

— Вы, видимо, начинаете разбираться в существе вопроса, доктор,— ответил Дуг.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

которая, как и следовало ожидать, дополняет краткую историю одного преступления краткой историей одной любви. Читатель впервые знакомится с Френсис Доран в ее маленькой деревушке, расположенной в самом центре Лондона. Он снова встречается с Дугласом Темплмором, на сей раз в кабачке «Проспект-оф-Уитби». Впрочем, знакомство наших героев происходит не здесь и не там, а среди цветущих нарциссов.

Вся эта история началась в одно прекрасное апрельское утро (право, зря клевещут на лондонский климат), в то время как Френсис Доран бродила по усеянным цветущими нарциссами лужайкам Риджентс-парка. Она окутанная легким прозрачным туманом, который поднимается в солнечные дни над мокрыми от росы лугами. Она любила этот парк нежно и как-то по-особенному. Странная это была любовь, тем более для жительницы Хемпстед-хиса — самого большого и дикого парка Лондона, расположенного на его северной окраине.

Дорога, по которой можно попасть в Хемпстед-хис с юга, тянется сперва вдоль широкого, почти голого пустыря, где время от времени бывают многолюдные ярмарки, затем пересекает несколько маленьких улочек, на одной из которых некогда жил поэт Китс, и наконец поднимается в гору; и вот здесь, справа от нее, и лежит этот парк. Впрочем, он скорее похож на холмистую, поросшую лесом равнину, пригодную для выпаса овец, чем на обычный городской парк. Теперь, когда вы поднялись до половины горы, сверните направо и начните спускаться по маленькой, еле приметной тропинке; извиваясь между деревьями, она неожиданно приведет вас к крошечной, утопающей в зелени деревушке, которая покажется вам необычайно трогательной посреди океана каменных громад. Носит она многообещающее название: «Вэйл-оф-Хелс», что означает «Долина здоровья». Прозвали ее так не иначе как в шутку, потому что, по слухам, туманы обволакивают ее постоянно; впрочем, когда я впервые попал сюда, стояла чудесная погода... Мы открыли этот благословенный край

с одной моей лондонской приятельницей. И пришли в дикий восторг. Ведь перед нами была настоящая деревня, с небольшими домами, улочками, центральной площадью и даже «пабом» (кабачком) на берегу подернутого туманом пруда. Проходя по одной из этих улочек, такой узкой, что по ней с трудом проезжал велосипедист, мы вдруг заметили стоящий в глубине игрушечного садика небольшой двухэтажный дом, увитый цветущими глициниями и диким виноградом. Широко открытое окно первого этажа выходило в садик; прохожий, случайно попавший в этот почти неправдоподобный уголок, мог разглядеть очень уютную комнату, обставленную своеобразно, но не крикливо. В доме никого не было видно, и мы, залюбовавшись, простояли перед ним несколько минут, не подозревая, что этот домик в самом сердце деревушки, которая укрылась посреди парка, расположенного в самом сердце Лондона, в один прекрасный день прославится на весь мир.

Потому что именно в этом доме жила Френсис. Не знаю, достался ли он ей по наследству или ей просто посчастливилось снять его. Жила она в нем одна и почти безвыездно; здесь она особенно легко писала свои сказки и новеллы, которые, впрочем, журналы печатали без особого энтузиазма, а издатели с еще меньшим восторгом выпускали отдельными сборниками. Правда, у нее было несколько верных поклонников, искренняя преданность которых не могла компенсировать их малочисленности.

А потому она часто страдала от неверия в собственные силы или просто из-за отсутствия денег. Что ни говори, а совмещение этих двух обстоятельств не облегчает жизни. Случалось, от этого страдали и литературные занятия Френсис, что, конечно, также не облегчало дела. Но порой трудности только придавали ей силы и обостряли восприятие мира; ее далекие, незнакомые и не слишком многочисленные поклонники с особым восторгом читали все, что ей удавалось написать в такие периоды, и мечтали с ней познакомиться.

Дугласа тоже кормило его перо. Но, в отличие от Френсис, он отдавал предпочтение очеркам. Он умел откопать каких-то странных типов и затем в увлекательной форме описать их своеобразную жизнь. Так, в графстве Девоншир, например, он отыскал человек тридцать отставных майоров, убежденных холостяков, живущих семейной коммуной в старом, полуразрушенном замке, полном привидений. Даже

не лишенные снобизма читатели журнала «Хорайзн» с добродушной улыбкой приняли этот очерк.

Я не стану описывать дом Дугласа так же подробно, как уголок, в котором жила Френсис. Конечно, не потому, что ни разу не видел его собственными глазами. Таких домов в Лондоне не одна сотня, но именно это-то и отбивает у меня всякую охоту говорить о нем подробнее. Грустное зрелище представляют эти бесконечные лондонские кварталы однообразных унылых домов, одетых в копоть и траур. Правда, сам Дуглас утверждал, что он выбрал мрачную Кэрнбиенстрит в Ист-Энде, у самых доков, привлеченный своеобразием этих мест. На самом же деле ему на первых порах пришлось испытать и холод и голод. Но возможно, что со временем он действительно привязался к этим краям, где бок о бок со страданиями и нищетой уживаются и радость, и нежность, и преступление, и упорство, и отчаяние, и ему понравилось жить на берегу огромной судоходной реки, откуда корабли расходятся по всему свету. Во всяком случае, здесь-то у него появилось немало привычек, от которых ему нелегко было отделаться. Каждый вечер, часов в семь, он заходил выпить стаканчик пунша в соседний диковинный кабачок под вывеской «Проспект-оф-Уитби». В этот час там буквально яблоку негде было упасть. В зале не было никакой другой мебели, кроме стоящей в глубине скамейки и придвинутого к самой двери стола. В клубах табачного дыма посетители со стаканами в руках стояли, тесно прижавшись друг к другу, словно в метро в часы пик; они пили, разговаривали, курили и пели, а два старых гавайца тренькали на своих мяукающих гитарах, подсев вплотную к репродуктору, отчего в этой тесной комнате можно было буквально оглохнуть. Позади стойки среди бесчисленных бутылок и чучел всевозможных рыб находилась не поддающаяся никакому описанию коллекция самых невероятных предметов. В ней можно было найти не только модели кораблей, искусно впаянных в бутылки, различные компасы, секстанты, колокола, корабельные фонари и другие морские приборы, но и вообще все, что только может придумать для забавы народная смекалка: цветы из бумаги, ракушек, перьев, кости, стекла, бархата, шелка, конского волоса, целлофана; вазы в форме круглой красной головы или продолговатой зеленой; пульверизатор для духов в виде знаменитого мальчика, занятого своим естественным делом; фонари и копилки, сделанные из тыквы, копилки в виде головы те-

ленка с фарфоровой петрушкой, воткнутой в ноздри; ботиночки из солодкового корня; голые женщины из марципана в стыдливых юбочках из гофрированной бумаги... Дуглас так и не мог уяснить себе, какая таинственная сила влекла его каждый вечер сюда, в этот кабачок, где среди песен и табачного дыма жила полная радости любовь человека к вещам, созданным его собственными руками. Дугласу больше всего нравилась ссохшаяся и ставшая не крупнее кулачка новорожденного голова индейца, у которой полностью сохранились связанные в пучок волосы. Ему не раз хотелось попросить хозяина продать ему эту мумию, но мешала врожденная скромность, так не вязавшаяся с его профессией. Впрочем, это было к лучшему: он наверняка получил бы отказ. Дуглас пил, не отрывая взгляда от головы индейца, в то время как за ярко освещенной стойкой, среди всех этих чудес, сбросив пиджак, суетился хозяин и его помощники — два буфетчика; а две официантки обслуживали посетителей, теснившихся в конце коридора на узком балконе, который казался совсем ветхим, так потемнели от времени, так лоснились деревянные балки, такое наслоение надписей покрывало его стойки, так тяжело нависал он над самой Темзой в том месте, где в речной тине догнивали остовы двух старых кораблей. Рассказывают, что именно отсюда Генрих VIII не раз смотрел, как на другой стороне реки вешают осужденных. По ночам зловещий свет газового рожка в конце мрачной и темной улицы еле освещал нижние ступеньки деревянной, источенной червями лестницы, о которые бились темные, как чернила, с недобрыми отсветами волны; глядя на эти ступеньки, так и представляешь себе, как стаскивали по ним в реку тела убитых.

Но Дуглас встретил Френсис не в ее живописной деревушке и не на мрачной Кэрибиен-стрит, а среди цветущих нарциссов, в подернутом легкой дымкой и освещенном лучами апрельского солнца Риджентс-парке. В их встрече, впрочем, не было ничего удивительного: Дуглас, как и Френсис, очень любил этот цветущий уголок. Вероятно, они не раз встречались там, но проходили мимо, не обращая друг на друга внимания. Что же изменилось в это утро?

Конечно, виной всему были туман и солнце. В фигуре Френсис, склонившейся к цветам, было что-то призрачное, что делало ее еще более очаровательной. Она была без шляпы, и ее крашеные золотистые волосы отливали тускловатым блеском в легком тумане.

Дуглас неясно видел черты ее лица, а ему вдруг так захотелось их рассмотреть. Он остановился. Девушка подняла голову, и взору ее предстало настоящее солнечное затмение: лицо Дугласа, стоявшего против солнца, было совершенно темным, а вокруг него пламенели, развеваясь по ветру, волосы цвета темной меди.

Она невольно улыбнулась. Дуглас принял эту улыбку на свой счет; а так как девушка была хороша, хотя рот у нее был немного велик, он почувствовал, что благодарен ей за эту улыбку и за эту красоту, наполнившую теплом его сердце. Улыбка к тому же придала ему смелости. Он сказал:

— Какие чудесные цветы!

Но Френсис прекрасно поняла, что он хотел сказать «Какое очаровательное лицо», и, хотя она и без него знала, что хороша собой, ей все-таки было приятно услышать эти слова. Она снова улыбнулась, на этот раз мило, дружелюбно. И спросила:

— А вы любите нарциссы?

Он подошел поближе, опустился прямо на траву, скрестил ноги и, посмотрев на нее, ответил: «Страшно люблю».

Но она воскликнула:

— Что вы делаете? Вы же простудитесь!

Легко вскочив на ноги со словами «Какая вы милая», он снял свой плащ и расстелил его на траве. И присел на краешке с таким выжидательным видом, что она, с минуту поколебавшись, опустилась на другой. Он широко улыбнулся.

— Не правда ли, нам здорово повезло? — вдруг вырвалось у него. Она удивленно подняла брови.

— Повезло, что мы с вами встретились. Бывают же такие чудесные дни: солнце, цветы и улыбки юных девушек.

— К вашему сведению, мне уже двадцать девять. (На самом деле ей было тридцать.)

— А я вам не дал бы и половины.

Она непринужденно рассмеялась. Ей было очень весело... Мимо них проплыла лодка, в ней сидели полнотелая дама и молодой человек, вцепившийся в слишком тяжелые для него весла.

— Я сегодня свободен до полудня,— решился наконец Дуг.— А вы?

— А я хоть до будущего года.

— Вот как! Свободны до будущего года?

— Я вольная птица и работаю только тогда, когда мне хочется.

— И вам не захочется до будущего года?

— Право, не знаю. Может быть, это желание появится у меня сейчас, а может быть — никогда.

— Чем же вы занимаетесь? Живописью?

— Нет, я пишу.

— Не может быть! — воскликнул Дуглас по-французски.

— Почему «не может быть»?

— Потому что я тоже пишу.

Теперь остановить их было уже невозможно. Разговор их не стоит пересказывать. То, что двое писателей могут наговорить о своей профессии, интересно лишь для самих писателей.

Так просидели они около часа, пока им не стало холодно; тогда, не переставая болтать, они поднялись. Френсис прекрасно помнила его очерк об отставных майорах, напечатанный в «Хорайзн». Дуглас чувствовал себя страшно неловко: он не знал ни одной ее новеллы.

Но когда по его просьбе она перечислила их и даже рассказала ту, где речь шла о том, как муж и жена, в сущности совершенно чужие друг другу люди, вынуждены жить в полном одиночестве в занесенном снегом загородном домике и проводить долгие зимние вечера, запершись каждый на своей половине, он с нескрываемым восторгом воскликнул: «Так это ваша?» И от этих слов ей сразу стало тепло. Вдруг они спохватились, что двенадцать уже давно пробило. Дуглас, махнув рукой, послал к черту свое деловое свидание, и они зашли в китайский ресторан, где заказали себе первое, что попалось им на глаза,— яйца под соусом и сэндвичи с морской капустой.

* * *

Спустя некоторое время они сели в автобус, идущий в Хемпстед-хис. Дуглас был поражен и даже чуточку раздосадован: он знал о существовании этой любопытной деревушки, но никогда не видел ее своими глазами. Как он мог до сих пор не побывать здесь? Френсис рассмеялась с наивной гордостью. Прежде чем зайти к ней, они побродили по улочкам. Потом разожгли огонь в маленьком, с деревянными инкрустациями камине, и пока она, не переставая болтать, готовила чай, он, не выпуская трубки изо рта, устро-

ился в своих светлых флаиелевых брюках прямо иа полу у огия, охватив руками колеии.

Когда стало смеркаться, ои сделал вид, что собирается уходить. Оиа ие отпустила его и открыла к обеду баику тушеики и коисервироваииые аиаиасы. Накоиец часам к десяти оии расстались. Сидя иа империале автобуса и глядя, как в темиоте мелькают редкие огии Флит-стрит, он думал: «Честиое слово, я влюблеи». С иим это случалось ие в первый раз. Но теперь ои испытывал что-то совсем иовое, что-то очеиь иежиое и спокойиое. Отрывок из верлеиовского стиха (ои был без ума от Верлена) ие выходил у иего из головы: «...и плеиа не боясь...» Ои даже не думал о том, будет ли эта любовь взаимиой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой Френсис и Дуглас решают, что дружба выше любви. Удобство литературных бесед с этой точки зрения. Неудобство молчания. Улыбка опасна. Страх и опрометчивость Дугласа. Опрометчивость и гнев Френсис Доран. Как принимаются важные решения. Три зуба на челюсти решают судьбу двух людей. Что может произойти, если отказаться от разговоров на литературные темы.

Теперь они встречались почти ежедневно, и всегда у нее. Он приходил часам к пяти, снимал куртку и, оставшись в толстом красном свитере, усаживался на полу, у самого огня, который она разжигала к его приходу.

Затем он набивал трубку, а она готовила чай и поджаривала ломтики пресного хлеба, купленного у еврея бакалейщика в Свис-котедже.

Когда он не мог прийти, они переписывались. В письмах своих они всегда говорили о литературе, обсуждали тот или иной вопрос, который не успели решить во время последней встречи. К уходу Дугласа всегда оставался какой-нибудь нерешенный вопрос. То же получалось и в письмах. И потому у них всегда имелся предлог снова встретиться или написать друг другу.

А главное, так легче было избежать молчания.

Ибо их отношения приняли вполне определенную форму. По молчаливому уговору было решено, что они не влюблены друг в друга: слишком уж это было бы пошло и прозаично! Ей было тридцать лет, ему тридцать пять, страсть не раз уже опустошала их сердца; «у нас выработался иммунитет»,— говорили они. То ли дело дружба! Конечно, и у нее и у него были свои друзья, и немало. Но не было таких, которым они могли бы открыть свою душу с этой чудесной непринужденностью, придающей необъяснимую прелесть их отношениям. В Дугласе Френсис нашла то, о чем мечтала всю жизнь: образованный, очень тонкий, с острым, критического склада умом, он высказывал ей свое мнение о ее новеллах без обиняков, без задней мысли, без снисхождения. Как это было хорошо! Чудесно было слушать, как он говорит: «Вещь никуда не годится»,— и затем объясняет, почему

ие годится. Оставалось только разорвать иаписаниое и иачать все сиачала (или просто отложить иа время в сторону). Но зато, если он говорил ей: «Браво»,— оиа могла быть совершенио спокойиой. Тогда как прежде, что бы она ии написала, друзья ее хором восклицали: «Чудесио, дорогая, замечательио!» А потом мучайся, решай сама, хорошо это или плохо. Прямо пытка!

«Какое счастье, что он ие влюблен в меия!» — думала оиа. И ей казалось, что оиа искренне просит у иеба, чтобы этого никогда не случилось. Оиа боялась, что, полюбив, он утратит искренность, которой оиа так дорожила, во всяком случае — способиость судить о ией здраво. И чего ради, спрашивается? Ради обыдеииых восторгов? В ее чувстве к нему было, пожалуй, что-то большее, чем простая дружба: он вызывал в ией иежиость, а иногда даже чувственные порывы, с которыми оиа мирилась ие без тайиой услады, но в сущности все это было не очень опасно. «Лишь бы он,— молила оиа,— лишь бы он не думал обо мне так!»

Он же забыл — или делал вид, что забыл,— о том, что испытал в первый вечер их знакомства, возвращаясь к себе в Ист-Энд на империале автобуса. Слишком свежи еще были раны от гнусной измены, которая переполнила его сердце если не отчаянием, то отвращением. «Женская любовь,— думал он,— благодарю покорио! Зыбучие пески, тошнит даже... Они уверяют, что лгут для иашего же блага, чтобы уберечь нас от страданий! Но в конце концов все открывается, и мы, конечно, страдаем; только теперь к нашим страданиям примешивается еще чувство гадливости. А они презирают нас за эти страдания, и эту гадливость, и за то, что мы не сумели оценить ангельскую доброту их слишком чувствительных сердец!.. Упаси боже снова погрязнуть в болоте женской любви!»

И он тут же садился в автобус, идущий в Вэйл-оф-Хелс, со счастливой улыбкой сжимал руки Френсис, сбрасывал куртку, набивал трубку и, в то время как она поуютнее устраивалась в углу спасительного дивана, среди подушек, сразу же начинал разговор, который остался неоконченным во время их последней встречи или в последнем письме. А она слушала, глядя на него доверчивыми, восторженно блестящими глазами, в которых и шестилетний ребенок сумел бы прочитать то, что Дуглас старался не видеть.

Но бывали минуты, когда они чувствовали себя неловко

вдвоем. Случалось, что вопрос, который они обсуждали, был до конца исчерпан, а они не сразу могли найти новую тему. Тогда наступали минуты гнетущего молчания, которых они с каждым разом боялись все больше. Они не знали, чем их заполнить. Они не хотели поверить, что им может быть хорошо просто оттого, что они вместе; им не приходило в голову посидеть молча, думая каждый о своем, до тех пор, пока слова не польются сами собой, или даже помечтать в полумраке, глядя на огонь в камине. Им казалось, что, если молчание продлится еще хоть немного, в комнату проникнет злой дух, который разоблачит их, и тогда произойдет что-то такое, от чего они растеряются и против чего оба будут бессильны. В такие минуты они храбро улыбались друг другу, как бы желая сказать: «Нам-то нечего бояться, не правда ли?» Они улыбались до тех пор, пока один из них не находил, наконец, новой темы, за которую они оба судорожно хватались. Но иногда им долго ничего не приходило в голову, и в панических поисках темы они чувствовали, как улыбка их становится нелепой гримасой; и все-таки они улыбались. И это было просто ужасно.

И вот однажды, только для того, чтобы прервать ненавистное молчание, Дуглас вдруг сказал:

— Вы знаете, Гримы предлагают мне ехать вместе с ними?

Он сказал это, не подумав, и сразу же все было кончено. А ведь на самом деле никто ему ничего не предлагал.

Дуглас действительно встретил накануне Кутберта Грима, ожидавшего автобус на Риджент-стрит. Грим был школьным товарищем его отца, Хэрмона Темплмора, китаиста, члена Королевского общества. Дуглас сохранил к старику Гриму искреннюю нежность в память отца, которого очень любил, хотя, когда в юности сын захотел проявить самостоятельность, они чуть не разошлись. Грим был шестидесятипятилетний старик с круглым одутловатым лицом старого кучера-пьяницы и с голубыми ясными глазами невинного ангела. Он трогательно смущался, выступая перед аудиторией (даже если аудитория состояла всего лишь из одного человека), хотя и был крупнейшим палеонтологом, признанным учеными всего мира.

При виде Дугласа он покраснел (впрочем, он всегда краснел при встречах со своими знакомыми), словно попался с

полночным. В ответ на сердечное приветствие молодого человека он пробормотал:

— D'you do...* Я очень хорошо, очень хорошо... Да... А вы?

Он посмотрел направо, налево, как будто собирался удрать. Дуглас спросил его, как поживает Сибила.

— Прекрасно... прекрасно... То есть нет, у нее, представьте себе, корь.

Дуглас невольно подумал: «Так ей и надо!» — и вспомнил себя тринадцатилетним мальчишкой: он лежит в кровати, а Сибила стоит в дверях его комнаты и, встряхивая белокурыми кудрями, с брезгливой гримаской смотрит на его красное, покрытое сыпью лицо. Им обоим было тогда по тринадцати лет. Но Дуглас до сих пор не мог простить ей этого выражения бессердечной гадливости.

В двадцать лет Сибила вышла замуж за Грима, которому было уже пятьдесят. Конечно, все сразу же обвинили ее в продажности, а его в развращенности и сластолюбии. Но когда стало известно, что она отправилась в Трансвааль с экспедицией, искавшей следы африкантропа, и весьма успешно участвовала в раскопках, злые языки умолкли. Теперь, по общему мнению, неоспоримым оставалось лишь то, что своим замужеством она разбила сердца многих прекрасных молодых людей и в первую очередь этого милого юноши, Дугласа Темплмора.

Пожалуй, единственным человеком, который не знал, что сердце его разбито, был сам Дуглас. А потому ему, конечно, и в голову не приходило рассказывать об этом Френсис. Но стоило Френсис заговорить о Дугласе со своими друзьями, как ей сразу же выложили все, и она тоже решила никогда не поднимать разговор о Сибиле: недоставало только поддаться смехотворной ревности.

— Как, корь? — воскликнул Дуглас.— Это же детская болезнь!

Во взгляде старого Грима промелькнуло что-то удивительно нежное. Он улыбнулся, тут же покраснел до корней волос, на его голубых глазах выступили слезы смущения, и он поспешно ответил:

— Не всегда, не всегда: случается, что... Впрочем, теперь почти все прошло.

---

* [Как] вы поживаете? *(англ.)*

И, увидев свой автобус, он с явным облегчением вздохнул.
— Теперь, к счастью, она почти здорова,— добавил он.— Ведь мы ускорили свой отъезд. Вы слышали? Мы едем в Новую Гвинею. Там нашли... а вот и мой автобус!.. челюсть... полуобезьяны-получеловека, понимаете, с тремя уцелевшими коренными зубами... Это слишком долго рассказывать...

— Это действительно очень интересно,— вежливо заметил Дуг.

— Интересно? Вас это в самом деле интересует? Мы хотим взять с собой двух кинооператоров, подумываем также и о журналисте. Разумеется, не для раскопок, а...

Волна пассажиров увлекла за собой старого ученого. И уже с площадки, прежде чем окончательно исчезнуть, он помахал Дугласу рукой.

— До свидания! — крикнул он и, улыбаясь, добавил что-то, что потонуло в шуме уходящего автобуса и могло означать «До скорой встречи!» или «Заходите!» — и исчез.

Дуглас сам растерялся от своих слов, в которых было так мало правды. «Что это я болтаю?» — подумал он и готов был уже рассказать, как все произошло на самом деле; но в это мгновение Френсис, как игрушечный чертик из бутылки, вскочила с дивана и с неестественным оживлением воскликнула:

— Но ведь это чудесно! Просто чудесно! Вы, конечно, согласились?

Она не отдавала себе отчета, почему она так говорит. Слишком долго длилось это невыносимое молчание, слишком долго пришлось ей напряженно улыбаться, испытывая, как и всегда в такие минуты, ужас и головокружение, граничащее с дурнотой. Она почувствовала настоящее облегчение, когда Дуглас наконец сказал что-то. И вместе с тем это «что-то» больно укололо ее.

— Значит, надо было согласиться? — спросил он.

У него был такой удивленный и растерянный вид. Но его слова больно укололи ее. Она повторила, на этот раз слишком уж радостно:

— Конечно, это чудесно! Вы не должны упускать такой возможности! Когда же они уезжают?

— Я еще точно не знаю,— пробормотал Дуглас. Вид у него и впрямь был самый несчастный.— Недели через две,

я полагаю.— Такой несчастный, что у Френсис на секунду сжалось сердце. Но он ведь ей тоже сделал больно, и еще как больно...

— Звоните им! — вскричала она и весело побежала за телефонной книжкой.— Примроз 6099,— сказала она, передавая ему трубку.

Дуглас готов был возмутиться. Он открыл рот, чтобы сказать: «Что с вами такое?», как вдруг услышал:

— Вам пора переменить климат. Вы слишком засиделись в Лондоне.

Потом она не раз спрашивала себя с гневом и болью, что́ заставило ее произнести эти слова. Не ревность же, в конце концов! Ей не было никакого дела до этой Сибилы. Пусть отправляется с ней, если ему так хочется. Мы же не влюблены друг в друга. И вполне можем расстаться на некоторое время. Мы совершенно свободны.

Дугласа словно обухом по голове ударили. «Слишком засиделись в Лондоне»... Так, значит, вот как она думает... Но почему же она ему не сказала об этом раньше? Он взял трубку и набрал номер.

К телефону подошла Сибила. Она не сразу поняла, что он от нее хочет. Какой журналист? Она же прекрасно знает, что Дуглас журналист, и ему незачем сообщать ей по телефону столь важную новость... Ехать с ними в Новую Гвинею? Но, милый мой Дуг... Что? Что? Вечно по телефону ничего не разберешь. Заходите к нам, старина, если, конечно, не боитесь корн. Приходите, когда только сможете.

Он повесил трубку. Перед ним как в тумане мелькнуло лицо Френсис. Но она уже подавала ему куртку и плащ.

— Сейчас же отправляйтесь к ней,— проговорила она все с тем же непонятным оживлением.— Надо ковать железо, пока горячо.

Несколько секунд они простояли друг против друга, не двигаясь, и в голове у нее пронеслось: «До чего все глупо! Вот возьму и поцелую его сейчас. Слишком, слишком все глупо. А что если не отпускать его? Нет, он сделал мне больно, теперь все, все пропало, пусть уезжает!.. Ох, если бы он только швырнул свою куртку в угол и обнял бы меня!»

Но он уже надел куртку и набросил на плечи плащ. И она сама подталкивала его к двери.

— Удачу надо хватать за волосы,— сказала она, звонко смеясь,— даже если они белокурые.

Он взгляиул иа светлые волосы Френсис. О какой удаче говорила оиа? Ему даже в голову не пришло, что слова ее могут иметь хоть какое-то отношение к белокурой Сибиле. Какую удачу должен был он схватить за волосы? И вдруг в голове у него молнией пронеслось: «Я женюсь на ией!» Но, увы, он ей совсем, совсем не нужен. Он чувствовал, как оиа легким нажимом руки подталкивает его к двери. Он уже стоял на так хорошо зиакомом ему коврике у двери и почти физически ощущал его коричневые и зеленые клетки, и от этого сердце переполняла такая отчаяиная тоска, что он готов был разрыдаться.

На пороге оиа еще раз повторила:

— Вам надо торопиться. Возьмите такси.

В малеиьком садике в лучах заходящего солнца всеми красками переливались майские цветы: незабудки, барвинки, анемоны и множество ирисов, не уступающих по своей красоте орхидеям... Песок скрипел под ногами.

Когда он вышел за калитку, оиа помахала ему рукой и крикиула: «Все-таки зайдите перед отъездом!» В мягком вечернем свете она показалась ему ослепительно прекрасной. Ее яркие, немного крупные губы улыбались. И, глядя на иее, можио было подумать, что она невероятно счастлива.

* * *

— Что это вам наговорил Кутберт? — с удивлеиием спросила Сибила.

Оиа полулежала иа кушетке стиля Рекамье. Ноги ее были укутаиы мехом. На лице ее еще были заметны красноватые следы сыпи. Но тому, на кого был устремлен взгляд Сибилы, вряд ли пришло бы в голову рассматривать ее кожу. Что касается Дугласа, ему вообще было не до Сибилы.

— Он сказал мие, что вы хотели бы взять с собой журналиста,— ответил он, слегка искажая истиину.— А потом он мие еще крикнул: «Поедемте с нами!»

— Но чего ради вы с иами потащитесь? Вас что интересует, палеонтология? Ведь наши ископаемые совсем не похожи на ваших доисторических майоров.

Дуглас ответил не сразу. У него не было иикакого желания убеждать ее в чем-либо.

— Меня вообще интересует все на свете,— наконец произнес он угрюмо.

Она насмешливо взглянула на него. Он покраснел.

— Признавайтесь-ка,— сказала она,— уж не бегство ли это? Не разбил ли вам кто-нибудь сердце?

— Да нет, что за ерунда! — слишком поспешно ответил Дуглас: он не мог скрыть своего раздражения.— Уверяю вас, экспедиция меня очень интересует. И, конечно, для меня, как для журналиста...

— А вы знаете, по крайней мере, зачем мы туда едем? На минуту он растерялся, но тут же нашелся и с победоносным видом выпалил:

— За челюстью...— и, улыбаясь, добавил: — С тремя зубами.

Она весело рассмеялась. До чего же он мил! Все-таки она очень любит его.

— Нет,— сказала она.— Челюсть с тремя зубами уже привез Крепс, немецкий геолог. Мы же попытаемся разыскать череп и скелет.

— Это самое я и хотел сказать,— пробормотал Дуг.

— И если мы только действительно их найдем, то, возможно, обнаружим так называемое «missing link» — «недостающее звено». А вы знаете, что это такое?

— Да... ну... приблизительно,— не слишком уверенно ответил Дуг.— Звено, которого недостает в эволюционной цепи... последнее звено между обезьяной и человеком...

— И это вас интересует... страшно интересует? — с напускной важностью спросила Сибила.

— Но, черт возьми, почему же, собственно говоря, вы решили, что меня это не может интересовать?

— Потому что, старина, зоология не ярмарочный балаган: взял да и вошел. Вот если я сейчас вам скажу, что мы едем в Новую Гвинею только потому, что на третьем зубе привезенной Крепсом челюсти имеется пять бугорков, вы что, подпрыгнете от волнения или нет?

— Нет, конечно, если вы будете мне говорить об этом таким тоном. Но я достаточно образован и понимаю, что Крепс, должно быть, нашел зуб обезьяны на челюсти человека или что-то в этом духе. Верно?

— Да, действительно, почти так.

— Вот видите, не такой уж я идиот.

— Этого я и не говорю. Я просто спрашиваю вас, подпрыгнете вы или нет?

— А почему, собственно говоря, я должен прыгать? Я не прыгал и тогда, когда узнал о существовании отстав-

ных майоров в Стегфордском замке. Я просто поехал туда и рассказал читателям обо всем, что увидел.

— Ну, если вы поедете с нами, то вряд ли сможете рассказать им что-нибудь интересное.

— Почему же?

— Потому что сразу видно, что вы никогда не присутствовали при такого рода раскопках. Уверяю вас, дружище, это вовсе не так интересно. Перерывают и просеивают тонны земли. И недель через шесть, а может быть и через шесть месяцев, находят наконец среди гальки и ракушек кусочек окаменевшей кости или один-единственный зуб. Сначала надо выяснить, не попали ли они туда случайно. Действительно ли они того же возраста, что и пласт земли, в котором их нашли, то есть, что им один или два миллиона лет. Тогда раскопки расширяются, и если через несколько месяцев удастся обнаружить часть черепа или кусок бедренной кости, то все считают, что им повезло, так как обычно найти ничего не удается. Видите, для вас тут нет ничего интересного.

— Не понимаю, как вы можете решать за меня, что́ мне интересно, а что нет.

В эту минуту в комнату вошел Кутберт Грим. Приход Дугласа удивил и искренне обрадовал его.

— Хэлло,— сказал он, крепко пожимая ему руку. Затем поцеловал Сибилу.

— Итак,— обратилась к нему Сибила,— все решено. Дуглас едет с нами.

У Дугласа подкосились ноги.

— Как, но...

Однако Сибила, очаровательно улыбаясь, остановила его.

— Я сделала все возможное, чтобы отговорить Дуга. Одному богу известно, почему он уперся. А вы уже договорились со Спидом?

— Да... нет... почти...— пролепетал Грим, не понимая, что здесь происходит.— Я не знал, что... но, конечно, можно было бы...

— Послушайте,— воскликнул Дуг.

— Я беру все на себя,— успокоила его Сибила.— Ведь Спид, по-моему, не так уж рвется. Вернее, ему просто не хотелось отказывать нам. Особенно мне,— добавила она с улыбкой.— В сущности, я уверена, что он только обрадуется. А вы с ним знакомы? — обратилась она к Дугу.

— Да... немного... Именно потому,— заторопился он,— я не хотел бы...

— Пусть это вас не смущает. Поверьте, Спид обрадуется. Вести дневник экспедиции, повторяю вам, работа не из приятных. Среди нас писак нет, да и не можем мы вести регулярно дневник. У нас слишком много других забот. Итак, вы довольны! — заключила она.— Значит, решено?

Он хотел сказать: «Дайте мне по крайней мере время подумать!», но у него не хватило мужества. Слова застряли у Дуга в горле — старый ученый и его жена смотрели на гостя с такой дружеской улыбкой, они были так откровенно рады, что могут доставить ему удовольствие...

— Ну что ж, выпьем по этому поводу,— сказал Грим и пошел за бутылкой. Он разливал виски, и его доброе круглое румяное лицо светилось счастьем и нежностью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отплытие в Сугаран. Френсис и Дуглас принимают любовь, но — увы! — слишком поздно. Когда молчать удобно, а улыбаться легко. На пароходе среди пассажиров — немецкий геолог, ирландский бенедиктинец и английский антрополог. Прекрасная Сибила посвящает Дугласа в борьбу, которая идет между сторонниками ортогенеза и селекции. От ископаемых раковин до извилин человеческого мозга. Гофмансталь при свете луны.

Последние дни перед отъездом экспедиция провела в Ливерпуле, где шла погрузка багажа. Дуг так больше и не виделся с Френсис. Он был слишком потрясен. Он уже не скрывал от самого себя, что любит ее. И теперь, когда он мог хладнокровнее смотреть на вещи, он понимал, что и она, вероятно, любит его. Между ними произошло глупейшее недоразумение. И он не знал, как теперь исправить дело... Ему было бы очень неудобно подвести Гримов, которые ради него отказали Спиду. У Дуга оставалась последняя надежда, что, быть может, Спид по-прежнему согласен отправиться с экспедицией; он съездил к нему. Но Сибила оказалась права: Спид был в восторге от того, что ему нашли заместителя. Дуглас даже не осмелился позвонить Френсис. А ему бы следовало бежать к ней, броситься к ее ногам и найти в себе достаточно смелости для решительного объяснения. Однажды вечером он почти решился. Он долго бродил по улочкам Вэйл-оф-Хелс. Но, увидав издали похожую на Френсис женщину, он бросился бежать со всех ног. Френсис тоже переживала тяжелые дни. Она без конца перечитывала письмо Дугласа, в котором он сообщал о своем отъезде. Это письмо совершенно ничем не отличалось от тех, которые она получала от него раньше. Оно было таким же милым, спокойным, полным юмора и той дружеской честности, которая вот уже больше года поддерживала в ней чувство уверенности. Но последние строчки письма потрясли Френсис.

«В общем,— писал он,— вот меня и увозят, помимо моей воли. Но если Вы считаете, что это хорошо, значит это действительно хорошо. Одно Ваше слово за-

ставило меня поехать, одно Ваше слово могло бы удержать меня. Как ни жестока подобная покорность, но мне приятно подчиняться Вашей воле. Бывают ведь такие горькие радости, не правда ли, Френсис? Все, что исходит от Вас, даже то, что причиняет боль, мне всегда будет радостью. Не злоупотребляйте этим, мой милый друг. Прощайте. Думайте обо мне хоть изредка.

Ваш *Дуг»*.

В день отплытия корабля, когда уже в третий раз завыла сирена и Дуглас со сжавшимся сердцем вышел на палубу, чтобы еще раз взглянуть на английский берег, на набережной, среди толпы провожающих, он вдруг заметил неподвижную фигурку, и у него перехватило дыхание.

— Френсис! — крикнул он и бросился к трапу. Но слишком поздно: трап уже поднимали. Тогда он снова кинулся на корму. Френсис подошла к самой воде. Дуг видел обращенное к нему прекрасное, немного бледное лицо. Они оба молчали, потому что иначе им пришлось бы кричать. Френсис только улыбалась, и Дуг отвечал ей такой же улыбкой. И впервые они готовы были молчать хоть вечность, не боясь, что их улыбка превратится в гримасу; напротив, с каждой минутой они улыбались все естественнее и нежнее. Когда судно медленно отвалило от берега, Френсис поднесла руку к губам, и Дуг сделал то же. И так, не переставая улыбаться, они посылали друг другу воздушные поцелуи, пока пароход не скрылся за молом.

* * *

Дуглас надеялся использовать долгий путь, чтобы хотя немного приобщиться к палеонтологии. Но его ждало горькое разочарование: его спутники готовы были делать все что угодно, лишь бы не говорить о своей профессии.

Их было четверо: трое мужчин и Сибила. Дуг только к концу путешествия разобрался в специальности каждого из них. Он искренне удивился, когда ему стало известно, что этот любитель поесть и выпить, который не выпускал изо рта трубку и не слишком стеснялся в выражениях, был не кто иной, как ирландский монах-бенедиктинец.

Дуглас не раз слышал, как его называли «отец», но он решил, что это — прозвище, которому тот обязан своим возрастом.

— Ничего не поделаешь, это всегда будет чувствоваться,— сказала Сибила однажды вечером, заметив, что в коридоре промелькнула и исчезла седая кудрявая голова. (Они как раз проплывали мимо острова Сокатори.) Дуг и Сибила лежали в шезлонгах.

— Что именно? — спросил Дуглас.

— Его скуфья, the cloth,— отрезала Сибила, которая несколько бравировала своим атеизмом.

— Что за скуфья?

— Эх, вы! Головной убор священников.

Судя по тому, как расхохоталась Сибила, удивление Дугласа было достаточно комичным.

— Как? Неужели вы до сих пор не знали? Он не только папист, он к тому же принадлежит к ордену бенедиктинцев. И, что хуже всего, является самым бешеным ортогенистом.

— Простите, как вы сказали?!

— Ортогенист. Сторонник ортогенеза. Он считает, что всякое развитие имеет определенную цель или по крайней мере направление.

На лице Дугласа была написана самая трогательная мольба, и Сибила с некоторым раздражением пояснила:

— Он полагает, что мутации происходят не случайно, не в результате естественного отбора, но что их вызывает, подчиняет себе и управляет ими некая сила, воля к усовершенствованию. О, черт! — воскликнула она, не выдержав тупости собеседника.— Словом, он полагает, что существует определенный план и его создатель и что господу богу наперед известно все, что он хочет.

— Но в этом еще нет никакого преступления,— улыбаясь, заметил Дуг.

— Преступления, конечно, нет, но это просто нелепость...

— Ну, а кто же вы сами?

— То есть, как это кто?

— Если вы не ортогенистка, тогда кем же вы себя считаете?

— Я никто. Я свободомыслящая. Я считаю ортогенез мистикой, и, по-моему, прав был Дарвин, отводя главную роль естественному отбору. Но в то же время мне кажется, что естественный отбор — это еще не все. Развитие — результат взаимодействия самых разнообразных факторов, внутренних и внешних. Думаю, что никогда нельзя будет свести развитие к одному какому-нибудь фактору. И тех, кто это делает, я просто считаю ослами.

— Объясните мне, пожалуйста, под внешними факторами вы понимаете климат, питание, других животных? Да?

— Да.

— А естественным отбором вы называете ту борьбу за существование, при которой выживают и развиваются формы, наиболее приспособленные к этим факторам, в то время как менее приспособленные погибают.

— Да, приблизительно так.

— Ну, а что же тогда вы считаете внутренними факторами?

— Внутренние факторы — это преобразующие силы, источник которых — некая воля к постепенному самосовершенствованию, присущая тому или иному виду.

— В общем, желание хотя бы немного приблизиться к идеальному образцу?

— Ну, скажем так.

— И вы придаете одинаковое значение обоим этим факторам?

— Да, но есть еще и другие. Есть множество причин, которые не так-то легко объяснить.

— Например?

— Я не могу вам их объяснить, потому что они необъяснимы.

— Божественного происхождения?

— Конечно, нет. Просто они непостигаемы человеческим разумом.

— И вы верите в их существование, не понимая, что они собой представляют?

— Я не стараюсь их себе представить, потому что для меня они непознаваемы. Но я думаю, что они существуют. Вот и все.

— Но в таком случае это просто бессмысленно.

— Как так?

— Это то же самое, что верить в Деда Мороза.

Она засмеялась и посмотрела на него с уважением.

— Неглупо сказано!

— Я бы предпочел держаться того, что было бы мне доступно. Например, естественного отбора или этого... как его... ормогенеза...

— Ортогенеза. Что ж, это вполне разумно. Но существуют вещи, которые не могут объяснить оба эти метода, даже вместе взятые.

— Например?

— Например, внезапное вымирание некоторых видов в период их наибольшего расцвета. Или еще проще: работа человеческого мозга.

— Но при чем тут человеческий мозг?

— Это слишком долго объяснять. Но grosso modo * здесь мы сталкиваемся с десятками противоречий. Если наш мозг должен содействовать лишь биологическому процветанию человеческого рода, почему же он ни с того ни с сего начинает заниматься совсем другими вещами? И когда речь заходит об этих «других вещах», нам приходится только руками разводить.

— Значит, сделан еще только первый шаг...

— Вот именно. Когда мы сделаем последний, все причины нам станут ясны.

— Знаете, что я вам скажу?

— Да, что такое?

— В сущности, вы гораздо больший ортогенист, чем отец Диллиген.

— Это заключение идет не от логики, а от чувств, мой милый Дуг!

— От чувств?

— Видите ли, даже Диллигена сделали ортогенистом его научные взгляды,— по крайней мере он сам так считает. Он является ортогенистом не потому, что верит в божественное предопределение, а скорее даже наоборот: он ортогенист и потому вынужден верить в божественное предопределение. Очень большую роль здесь сыграл тот факт, что он занялся изучением форм свертывания у некоторых типов ископаемых раковин. Конечно, это было не единственной причиной... Он нашел разновидности, у которых свертывание зашло так далеко, что животное, полностью свернувшись, погибало замурованным еще совсем в раннем возрасте. Но, несмотря на такой гандикап, эти виды не вымерли. Исходя из этого, Диллиген пришел к выводу, что существует внутренний фактор, внутренняя «воля» к свертыванию, полярная всякому процессу приспособления. Кутберт как верный последователь Дарвина ответил ему, что этот внутренний фактор по своему происхождению есть не что иное, как процесс приспособления, просто плохо поддающийся контролю законов генетики. Уже года три они ссорятся по этому поводу, как базарные торговки.

* В общих чертах (*лат.*).

— Разве ваш муж занимается также и раковинами?

— Если вы хотите, дорогой мой, хоть что-нибудь понять в происхождении человека, вам надо познакомиться сначала с тем, как произошло на земле все остальное...

— Вы в этом уверены? — с минуту подумав, спросил Дуг.

— Что за вопрос? Это же вполне очевидно.

— Ну, не совсем.

— Как не совсем?

— Мне кажется, — продолжал Дуг, — тут есть какая-то путаница. Между вашими раковинами и, например, слоном или даже большими обезьянами... хорошо... я понимаю, качественная сторона вопроса не меняется от объекта, поскольку можно проследить каждый шаг в развитии от одного к другому. Но между обезьяной и человеком или, скорее, видите ли... между обезьяной и человеческой личностью и даже, если хотите, между животным, от которого произошел человек, и человеческой личностью лежит целая пропасть, и ее не заполнишь всеми вашими историями насчет свертывания...

— Вы, конечно, имеете в виду душу? Так, так, милый мой Дуг, уж не стали ли вы верующим?

— Вы хорошо знаете, дорогая Сибила, что во мне нет и крупицы веры. Я такой же безбожник, как и вы.

— Но о чем же в таком случае вы говорите?

— О том, если угодно, что пришлось все же придумать такое слово: Душа. Даже если не веришь в ее существование, надо все-таки признать, что, поскольку ее пришлось придумать, и придумать специально для человека, чтобы отличить его от животного, значит, в самом человеке, во всем его поведении есть нечто такое... Но вы, конечно, поняли, что я хочу сказать?

— Нет, объясните.

— Я хочу сказать, что в причинах, определяющих человеческие поступки, есть нечто такое, нечто совсем особенное, единственное в своем роде, чего не найдешь у представителей всех других видов. Вот хотя бы даже то, что каждое поколение людей ведет себя по-разному. Образ жизни людей постоянно меняется. Животные же на протяжении тысячелетий ничего не меняют в своем существовании. Тогда как между взглядами на жизнь моего деда и моими собственными не более сходства, чем между черепахой и казуаром.

— Ну и что?

— Ничего. По-вашему, это можно объяснить эволюционными изменениями челюсти?

— Да, во всяком случае, теми изменениями, которые произошли с извилинами мозга.— Дуг с ожесточением тряхнул головой.

— Совсем нет. Не в этом дело. Это ничего не объясняет. Извилины головного мозга не изменились с того времени, когда жил мой дед. Черт возьми, как трудно выразить мысль, чтобы она стала понятной.

Огромная черная тень, вставшая над ними, заставила их обернуться. Это был профессор Крепс, человек такого огромного роста, что, когда в салоне он проходил мимо окна, в комнате на мгновенье становилось темно. Он всегда носил слишком узкие, обтягивающие ляжки, поношенные, без намека на складку брюки, что еще больше увеличивало его сходство с толстокожим животным. Даже в гневе глаза Крепса под припухшими тяжелыми веками не теряли сходства с вечно смеющимися глазками слона. У него были тюленьи усы, в которых постоянно застревали крошки пищи. Но самым удивительным был его голос — высокий и тонкий, как у подростка.

— Как, дети мои, вы еще не спите?

Спасаясь от преследований нацистов, он много лет назад бежал из Германии, и, хотя уже давно жил в Лондоне и хорошо говорил по-английски, в его речи попадались чисто немецкие обороты.

— Неужели у вас хватит духу отправить нас спать? — сказала Сибила.— Такая чудная ночь!.. Впрочем, а сами-то вы почему гуляете?

— Вы же знаете, я никогда не сплю.

Это было действительно так. Крепс редко ложился раньше двух или трех часов ночи и к тому же еще читал в постели. Сон одолевал его, он начинал дремать, потом снова просыпался, и так, не выключая света, дожидался первых лучей солнца. Тогда он глубоко засыпал на час, а затем вставал свежий, отдохнувший и бодрый.

Этой ночью по фосфорически блестящей воде под чудесным небом, усеянным звездами, пароход выходил из Аденского залива в Индийский океан. Ночь была такая нежная и сияющая, такая теплая, такая свежая от ветерка, что они втроем просидели на палубе до самой зари.

Крепс читал по-немецки стихи Гофмансталя и тут же переводил их на английский язык, немного тяжеловесно, но

довольно поэтично. И когда он процитировал строфу из «Пения под открытым небом»:

Она сказала: «Уходи!
Я не держу тебя,
Коль чувство спит в твоей груди,
Своим путем иди, мой друг...

...Но если я других милей,
То возвратись ко мне опять...»

Дуглас почувствовал, как сердце его, словно в юности, заливает волна горького счастья.

ГЛАВА ПЯТАЯ

600 миль по девственным лесам. Как иногда бывает полезно сбиться с дороги. Отклонение в сторону на 80 миль приводит экспедицию как раз в то место, куда хочется автору. Приматы забрасывают лагерь камнями. Спор о том, где живут обезьяны. Преимущество полной неискушенности в науке перед шорами, закрывающими глаза ученых. Дуглас откровению торжествует. Находка Крепса производит сенсацию.

«Жизнь медленно течет, дорогая Френсис, *но как сильна надежда»* (Аполлинер, так же как и Варлен, был любимым французским поэтом Дугласа). Вот мы и в Сугаран. Подумать страшно, как далеко мы забрались... Лондон остался по ту сторону света, которую мы теперь попираем ногами, так что по отношению к Вам я хожу вниз головой. Но прошедшие недели ничто по сравнению с теми, которые нам еще предстоят, когда мы пустимся сквозь девственный лес к месту раскопок — шутка ли, восемьсот миль! Десять месяцев назад наш могучий Крепс проложил дорогу среди тропических лесов, лиан и папоротников (должно быть, он разрывал их, как носорог), но от нее уже давно ничего не осталось. Фактически весь этот район еще совершенно не изучен. Это одно из последних «белых пятен» на карте мира.

Мы немедленно отправимся в путь. Весь наш отряд благополучно высадился на берег, ничего не растеряв из многочисленного багажа. Все остальное было приготовлено здесь заранее и ожидало нас. Признаться Вам откровенно? Я уже успел увлечься...»

Френсис улыбнулась. Как ей хотелось расцеловать сейчас своего милого мальчика! Она не удержалась и со словами: «Фу, как глупо» — прижала письмо к губам.

А в это время «милый мальчик» сражался в своей палатке с москитами. Хотя сам он задыхался от сильного запаха мелиссы, насекомые, казалось, не обращали на него никакого внимания. Дуглас уже не верил, что когда-нибудь наступит утро.

И так повторялось из ночи в ночь, до тех пор, пока экспедиция не достигла, наконец, опушки леса. Они шли уже семьдесят шесть дней по компасу, а то и просто наугад под непроницаемым шатром зелени, что не позволяло пользоваться астрономическими приборами. И вот, когда по расчету Крепса они должны были выйти к цепи невысоких лесистых холмов, они вдруг натолкнулись на огромную скалистую стену высотой 120—150 футов. Секстант, который наконец удалось применить (впервые за эти дни они снова увидели небо), обнаружил отклонение на восток всего на несколько градусов, но после долгих дней пути это составило уже около сотни миль. Гриму и отцу Диллигену не терпелось обнаружить проход, который вывел бы их в район холмов. У них возникла бурная ссора с Крепсом. Крепс настаивал на том, чтобы экспедиция, раз уж она отклонилась от маршрута, сделала привал около этого любопытного утеса, что позволило бы ему, Крепсу, познакомившись с его строением, подтвердить свою теорию о вулканическом происхождении гор. Сибила не принимала участия в споре. Она только улыбалась. Дуглас последовал ее примеру, ибо готов был немедленно согласиться с любым решением.

Крепс одержал верх благодаря своей внушительной наружности и своей настойчивости. Ему дали неделю на поиски. После беглого осмотра он заявил, что впадина, без сомнения, находится в нескольких милях на юго-запад. Отряд снова тронулся в путь. Впадину, или скорее трещину в каменной породе, действительно обнаружили в указанном Крепсом месте. Лагерь расположился у подножья утеса, рядом с источником. И Крепс вместе со своими помощниками, двумя малайцами и шестью папуасами, пробрался в узкое ущелье.

На пятый день к вечеру произошло необычайное происшествие: лагерь забросали камнями; должно быть, это постарались орангутанги. Из-за темноты их не удалось как следует рассмотреть, и никто не мог понять, откуда они взялись. Лес начинался по меньшей мере в полумиле от лагеря. А как известно, большие обезьяны не рискуют отдаляться от леса. Дуг высказал предположение, что они могли спуститься с утесов. Ему снисходительно объяснили, что человекоподобные обезьяны живут на деревьях и предположение его абсурдно.

— А разве не абсурдно,— спросил Дуг,— что орангутанги вообще напали на лагерь? — Как ему было известно,

обезьяны избегают человека и никогда не решатся напасть на него первыми. Ему снова объяснили, что бывают исключения из общего правила. Например, если какому-нибудь негру случается убить самку или детеныша, это может очень надолго озлобить обезьян. Кроме того, нередко случается, что обезьяны, например павианы, нападают на одиноких путников и забрасывают их камнями.

Но через два дня наступила очередь торжествовать Дугу. Крепс вернулся из своей экспедиции. Он был в восторге. Захлебываясь, он рассказывал о резко перемещенных пластах туфа и лёсса миоцена, плиоцена и плейстоцена. Все слушали его, как будто речь шла о китайском или цейлонском чае. Один только бедный Дуг не понимал ни слова. Из всего этого нагромождения терминов он уловил только то, что Крепс между прочим обнаружил что-то вроде цирка, где грунт был выстлан плитками лавы, словно пол в ванной комнате. И уж, конечно, он услышал, как Крепс добавил:

— Там кишат обезьяны.

У Дуга не хватило деликатности сдержать свои чувства, и он с торжествующей улыбкой взглянул на ученых. Отец Диллиген и старый Грим приняли обиженный вид, явно говоривший, что журналист ведет себя не по-джентльменски. Но Сибила реагировала самым удивительным образом. Она обняла Дуга и расцеловала его в обе щеки.

— Истина глаголет устами младенцев,— сказала она.— Как часто ученым мешают шоры!

Грим и отец Диллиген высказали мысль, что, может быть, в какой-нибудь малозаметной впадине растут низкорослые деревья вроде знаменитых бутылочных. Но Крепс только покачал головой.

— Деревьев там не больше, чем на тыльной стороне моей руки,— сказал он.— Это пещерные обезьяны, они живут в расщелинах скал.

Тут Диллиген, явно стремясь перевести разговор на другую тему, спросил, когда же они отправятся в путь.

— Не так скоро,— ответил Крепс, пряча невинную улыбку в своих тюленьих усах.

— Как? Что такое? Еще что? — закричал Грим, и лицо его из красного стало кирпичного цвета.

— О! — продолжал Крепс,— сам я готов ехать хоть сейчас. То, что я хотел посмотреть, я уже посмотрел. Но я сомневаюсь, что вы со святым отцом захотели бы покинуть эти места.

Он с наслаждением опустился в походное кресло, ножки которого подозрительно заскрипели под тяжестью огромного тела. С шаловливым видом он покачивал своей гигантской ножищей и внимательно разглядывал старого Кутберта из-под очков в железной оправе. Это была великолепная немая сцена, как сказали бы кинооператоры.

— Да вы что-то откопали! — нетерпеливо воскликнула Сибила.

Крепс улыбнулся и наклонил голову.

— Не томите же нас! — вскричала она.

— Что это такое?

— Теменная кость,— спокойно ответил Крепс.

Он сделал знак своему помощнику — малайцу, и тот сейчас же скрылся в палатке геолога.

— Где вы ее нашли? — не унималась Сибила.

— В пластах плейстоцена. Если я не ошибаюсь, эта кость похожа на человеческую даже больше, чем кость синантропа.

— Переведите, объясните мне! — наклонившись к Сибиле, вполголоса взмолился Дуг.

— Сейчас,— ответила она почти сухо.— Почему вы так решили? — обратилась она снова к Крепсу.

— Взгляните сами на эту теменную кость. Вернее, на то, что от нее осталось,— сказал Крепс.

Малаец подошел, неся в руках коробочку. Крепс бережно открыл ее. Коробка была наполнена мельчайшим песком, его, должно быть, просеяли через частое сито. Своими толстыми пальцами Крепс с неожиданной ловкостью, почти с нежностью расчистил песок и вынул оттуда белый, продолговатый и округлый предмет, который положил на протянутую ладонь Сибилы. Грим и отец Диллиген молча приблизились. Оба они побледнели, насколько были на это способны, другими словами, просто стали не такими красными. Они смотрели через плечо Сибилы. То, что произошло потом, не поддается никакому описанию.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Краткий курс генетики человека, рассчитанный на писательниц (а также на писателей). Десять тысяч веков отступают перед черепом человека, умершего тридцать лет назад. Неожиданное появление казалось бы давно вымерших человеко-обезьяи. Люди они или обезьяны? Дуглас хотел бы добиться ответа, но Сибила и научная объективность отсылают его прочь. На свете появляются «тропи».

«Я никогда не думал, дорогая, дорогая Френсис, что мне так скоро удастся послать Вам весточку. Ведь мы живем в семистах милях от ближайшего населенного пункта, более или менее цивилизованного. Перед нами возвышается неприступная горная цепь Такуры, а позади лежат массивы девственных лесов.

Ни о какой почтовой связи не могло быть и речи.

По крайней мере до сегодняшнего дня. Но все перевернуло одно открытие Крепса, о котором я хочу (если только мне удастся) рассказать Вам.

Дорогая Френсис, мы с Вами чудовищно невежественны. Известно ли Вам, например (в лучшем случае Вы, вероятно, имеете смутное представление), что такое питекантроп, австралопитек, синантроп, неандертальский человек? Мне становится стыдно за то пренебрежение, с каким мы относимся к вопросу о происхождении человека! А сейчас, представьте себе, я так этим увлечен! И, к счастью, Сибила терпелива со мной, как ангел. Правда, не всегда. Иной раз она кричит на меня, как на двенадцатилетнего мальчишку; это бывает в тех случаях, когда своими вопросами я отвлекаю ее от размышлений. Итак, Вам необходимо знать: в настоящее время почти точно доказано, что человек и обезьяна происходят от одного и того же корня. Этот корень «кустился» (специальный термин), то есть в зависимости от разных условий окружающей среды давал различные ветви. В настоящее время на конце одной из этих ветвей находятся все человеческие расы, а на конце другой — все семейства обезьян. Таким образом,

человек не происходит от обезьяны, но и обезьяна и человек происходят от одного и того же корня.

Среди ветвей, образовавшихся при этом «кущении», было немало таких, которые после более или менее продолжительного расцвета исчезали. В пластах плиоцена и плейстоцена — о, простите! — в древнейших геологических пластах порядка двух миллионов лет находят множество окаменелостей различных видов обезьян, исчезнувших тысячелетия назад. На Яве, в Китае, Трансваале были найдены черепа или остатки черепов животных, исчезнувших с лица земли и очень близких к человеку. Их назвали: питекантропом (что значит человеко-обезьяна), австралопитеком (южная обезьяна), синантропом (пекинский человек). Их черепа (впрочем, отличающиеся друг от друга) развиты более, чем у современных человекообразных обезьян, но менее, чем у самого примитивного человека. Они находятся как бы на полпути.

Среди антропологов — одни, как Грим и Сибила, считают, что эти животные были нашими непосредственными предками; другие, как отец Диллиген, может быть из чисто теологических соображений (по крайней мере, таково мнение Сибилы), думают, что они являются последними представителями самостоятельной ветви, которая угасла, вероятно, 700—800 тысяч лет назад, возможно, истребленная очень похожими на них, но гораздо более высокоразвитыми и жестокими животными, представителями соседней ветви, от которой произошли современные люди.

Я написал глагол «считают» в настоящем времени, а должен был бы употребить его в прошедшем. Потому что вот уже несколько дней как они вообще уже ничего не считают.

Френсис, дорогая моя! Я вдруг так остро почувствовал, что Вы далеко от меня. Я даже не могу спросить, как бывало раньше: «Я не надоел Вам? Можно продолжать?» И вот приходится продолжать, не получив Вашего ответа. О, умоляю Вас, дорогая, проявите хоть чуточку терпения. Если б вы знали, как все это теперь меня интересует! Мне больно подумать, что, читая эти строки, Вы можете зевнуть.

Итак, дней десять назад в вулканическом обвале, происшедшем тысячи веков назад, Крепс обнаружил

кусок черепа. По его мнению, это был череп животного, занимавшего промежуточное место между синантропом (одной из ископаемых обезьян, наиболее близкой к человеку) и неандертальцем (ископаемым человеком, наиболее близким к обезьяне). Он уверен, что своей находкой льет воду на мельницу обоих Гримов, так как наличие в древнейшие эпохи этого двойственного существа — еще обезьяны и уже человека — лишний раз подтвердило бы их концепцию о единой линии развития.

Не знаю, дорогая Френсис, какое впечатление произведет это на Вас, но мне в ту минуту, когда я понял, о чем идет речь, стало как-то не по себе, стало тревожно, даже страшно. Сибила нашла мой вопрос глупым. Мне же он кажется очень существенным. Я спросил: «Еще обезьяна и уже человек,— что это значит? Кем же считать такое существо: обезьяной или человеком?» «Старина,— ответила мне Сибила,— греки долго считали важным решить вопрос, сколько камней составляют кучу: два, три, четыре, пять или больше. В вашем вопросе не больше смысла... Любая классификация произвольна. Природа не классифицирует. Классифицируем мы, потому что для нас это удобно. И классифицируем по данным, которые мы берем также произвольно. В конце концов не все ли равно, как назовем мы существо, череп которого Вы держите в руках: обезьяной или человеком? Кем оно было, тем и было... Имя, которое мы ему дадим, ничего не изменит». «Вы так думаете?» — спросил я. Она только пожала плечами. Но этот разговор происходил еще «до»...

До того как мы окончательно убедились в том, что находка Крепса делает настоящий переворот в современной зоологии. И хотя я сгораю от нетерпения поскорее Вам все объяснить, я все-таки хочу изложить события по порядку.

Итак, Крепс вернулся из своей экспедиции и привез найденную им черепную кость. Надо Вам сказать, что Крепс геолог. И хотя в палеонтологии он разбирается, конечно, несравненно лучше, чем мы с Вами, все-таки это не его специальность. Так как он нашел этот череп в очень древних пластах, к тому же весь покрытый осадочными породами, естественно, он принял его за ископаемое, причем ископаемое такое же древнее, как и сам пласт.

Поэтому он, так же как и я, не сразу понял, почему старый Грим, внимательно рассмотрев череп, пришел в неописуемую ярость. Он буквально налетел на Крепса, осыпая его ругательствами. В ту минуту его гнев действительно казался необъяснимым. Ну, в чем, в сущности, он мог упрекнуть Крепса? Самое большее в плохой шутке. Но теперь, поразмыслив, я понял, что заставило так страшно рассвирепеть старика Грима: инстинктом ученого он раньше, чем разумом, понял, какие надежды таит в себе эта находка и какое его ждет страшное разочарование, если все это окажется только шуткой; и охватившее его волнение прорвалось в гневе.

У Сибилы темперамент более спокойный. К тому же, возможно, ей просто понадобилось больше времени, чтобы понять то, что ее старый супруг схватил на лету. Вторым понял все отец Диллиген. Сначала он подпрыгнул на месте сразу двумя ногами, как девочка, играющая в веревочку. А потом начал таким же образом прыгать вокруг Сибилы, которая держала в руках череп. Грим кричал, отец Диллиген прыгал, а Сибила с каждой минутой все больше становилась похожей на мраморную статую. Был такой момент, клянусь Вам, когда я подумал, что они сошли с ума.

Наконец великан Крепс тяжело приподнялся с места. Движением руки, каким отгоняют муху, он отодвинул в сторону Грима. Подошел к Сибиле, взял у нее череп, вынул из кармана перочинный нож и начал его скоблить. Здесь-то я и услышал поток такой отборной немецкой ругани, какая и во сне не приснится.

Дело в том, Френсис, что этот череп оказался вовсе не ископаемым. Он действительно принадлежал одному из видов человеко-обезьяны, исчезнувшей уже пятьсот тысяч лет назад, и все-таки он не был окаменелостью; напротив, это был череп существа, умершего всего двадцать или самое большее тридцать лет назад.

Вы, наверное, начинаете понимать. Едва отец Диллиген пришел в себя, он закричал: «Камни!» — и бросился через весь лагерь собирать камни, которыми за два дня до этого нас забросали обезьяны. Удивительно, Френсис, до чего хорошо работает мозг, когда он возбужден. Я сразу же понял, зачем отцу Диллигену понадобились эти камни. Чтобы посмотреть, не обтесаны ли они. Ну, знаете, как наконечники стрел или кремневые

топоры, которые находят в доисторических пластах каменного века. И мне показалось совершенно бесспорным, во всяком случае в ту минуту, что, если обезьяны, напавшие на нас, умеют обтесывать камень, это уже не обезьяны, а люди.

Камни были обтесаны, Френсис. Не просто обтесаны, но обтесаны старательно и удивительно искусно. Это было то, что называют орудиями доисторического человека, другими словами, совсем примитивное приспособление, которым он пользовался, оглушая свою добычу.

Заметьте, это открытие в какой-то мере только подтверждало то, что уже предполагалось ранее. В самом деле, рядом с остатками синантропа (ископаемая обезьяна, жившая миллион лет назад, которую откопали в окрестностях Пекина) обнаружили обтесанные камни и следы огня. Вокруг этих находок разгорелся страстный спор. Вот вам доказательство, говорили одни, что обезьяны на данной ступени развития умели высекать огонь и обтачивать камни.

Напротив, возражали другие, вопреки господствующему мнению, это доказывает лишь то, что человек жил уже в ту далекую эпоху, что он своим каменным оружием уничтожил синантропа и поджарил его на огне, который умел добывать.

С этой минуты в наших руках имеется доказательство, что правы были первые, ибо более чем ясно, что существа, которые забросали нас обточенными камнями, по своей конституции не люди, а обезьяны. После я расскажу Вам обо всем подробнее. Грим, Диллиген и Сибила уже приступили к научным наблюдениям. Вы легко можете себе представить степень их волнения. И я его вполне разделяю! Найти антропитека, missing link, недостающее звено в цепи — и найти его живым! Мы уже вырыли из земли сотни точно таких же черепов, какой нашел Крепс. Откопали даже целые скелеты,— видимо, эти странные обезьяны хоронят своих покойников. Обнаружили целый некрополь, конечно, примитивный и грубо сделанный, но в том, что это именно кладбище, нет никаких сомнений. И все-таки они обезьяны. Я, конечно, плохо разбираюсь в таких делах, но достаточно на них взглянуть, и все становится ясным. У них слишком длинные руки, и, хотя обычно они

держатся прямо, бывает, что при быстром беге они опираются на согнутые пальцы, точно так, как это делают шимпанзе. Несмотря на то, что тело их покрыто шерстью, признаюсь, они производят несколько странное впечатление, особенно самки. Они меньше и изящнее самцов, у них хорошо развиты бедра, грудь совсем как у женщины и не такие длинные руки. Они покрыты короткой бархатистой шерсткой, немного напоминающей мех крота. Все это придает им очень грациозный, трогательно-изящный, почти чувственный вид. Но лица их ужасны! Хотя они лишены, как и наши, растительности, однако почти такие же плоские, как у обезьян. И на этом лице — низкий и покатый лоб с огромными надбровными дугами, жалкое подобие носа, выдающийся вперед негритянский рот, только без губ, как у гориллы, с крупными зубами и клыками, не менее острыми, чем у собак. У самцов имеется что-то вроде окладистой бородки, что придает им сходство со старыми матросами былых времен. У самок шелковистые, падающие на глаза гривки. Они очень покорны, и их легко приручить. Самцы далеко не так уравновешенны; чаще всего они спокойны и настроены миролюбиво, но у них бывают приступы неожиданного гнева, и тогда они становятся опасными. Поэтому с ними надо быть начеку.

Вы видите, я говорю о них, как об обезьянах: называю их самцами и самками. Но иногда так и подмывает назвать их людьми — ведь они обтачивают камни, добывают огонь, хоронят своих мертвецов; у них даже существует какое-то подобие речи, при помощи которой они объясняются друг с другом (небольшое количество артикулируемых звуков, которых отец Диллингем насчитал около сотни).

Вот что мы успели установить. Сейчас мы еще не решили, как их называть. Откровенно говоря, боюсь, что по-настоящему это волнует только меня. Я говорил уже Вам, что мне ответила Сибила: «Какое это имеет значение?» На первый взгляд кажется, что она действительно права. Грим, Крепс и Сибила называют их между собой попросту *тропи* (выкроив это прозвище из слов anthrōpos * и pithēkos **). Но это, конечно, только временное

* Человек *(греч.)*.
** Обезьяна *(греч.)*.

решеиие вопроса. Еще любопытиее то, что Диллигеи старается вообще ие проиэиосить этого, в сущиости, очеиь милого имени. Ои говорит о иих обииякамн, явно ие осмелнваясь их назвать ни «людьми», ни «обезьяиами», ни «тропи». По-моему, ои даже больше меня страдает от подобной неопределенности. Да, наверное, больше. В конце коицов, я ведь так же, как и другие, прииял это назваиие «тропи». Оио проще. Но для меня совершеиио очевидио, что это только «пока». Потому что раио или поздно придется решить вопрос, кто же оии — люди или обезьяиы...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Печаль и смятение отца Диллигена. Есть ли у тропи душа? Нравы и язык человеко-обезьяни. Живут ли они в первородном грехе или пребывают еще в невинности зверя? Крестить — не крестить... Как всегда, исследование, наблюдение и опыт только увеличивают сомнения.

«Мой милый Дуг, как я счастлива, что тоже могу написать Вам! Вы так и не объяснили — еще бы, Вам слишком много хотелось рассказать мне,— каким чудом Ваши письма дошли до меня из глубины пустыни и как мои смогут перелететь к Вам через горы и девственные леса. Но Вы так мило торопите меня с ответом, очевидно, в расчете, что мое послание не залежится на почте в Сугараи.

Ну и приключение, Дуг! И какое открытие! Вы вдохнули в меня огонь Вашей страсти. Я сразу же скупила все, что было напечатано в Англии о человекоподобных обезьянах и доисторическом человеке. И погрузилась в чтение. Правда, мне трудновато освоиться с мудреной терминологией, но постепенно я привыкаю.

Может быть, оттого, что я Вас люблю, Дуг, я испытываю совершенно то же, что и Вы. Я просто заболела из-за Ваших тропи! И даже не знаю почему. Возможно, во мне еще сильны пережитки той веры, в которой я была воспитана, но иногда мне кажется, что нужно совершенно точно знать: есть *душа у тропи* или нет? Ведь самый неверующий среди нас не может отрицать того, что как-никак, а именно в человека, только в него одного, вложена искра божия. И не отсюда ли наша извечная тревога? Если человек в своем развитии идет от животного, то когда, в какой момент в нем зажглась эта искра? До того, как он стал тропи, или после? Или именно на этой стадии?

В конце концов, весь вопрос, Дуг, сводится к тому: имеют ли Ваши тропи душу? Каково мнение об этом отца Диллигена?»

* * *

А бедный отец Диллиген потому и терзался, что не мог составить себе на сей счет определенного мнения. Вместе с другими он работал радостно и возбужденно. Но потом все заметили, что он помрачнел, стал раздражительным, рассеянным и молчаливым. Когда он слышал, как Сибила и Дуг спорят о природе тропи — люди они или нет,— его лошадиное багровое лицо бледнело, а толстые губы начинали дрожать, он все что-то шептал про себя; в такие моменты у него даже гасла трубка. Однажды, когда Сибила с раздражением бросила Дугу: «Оставьте меня в покое!»,— отец Диллиген взял его за руку и прошептал:

— Вы чертовски правы. В такие минуты наука вызывает у меня отвращение.

Он схватил руку Дугласа, буквально вцепился в нее.

— Знаете, что я думаю? — сказал он вдруг дрогнувшим голосом.— Мы все будем гореть в аду.— И он резко повернулся к Дугу, точно желая проверить, какое впечатление произвели его слова. Дуг не скрыл своего удивления.

— Кто все? Все ученые?

— Нет, нет! — живо возразил Диллиген, тряхнув своей серебряной гривой.— Я говорю о людях верующих и благочестивых.— Он отпустил руку своего собеседника и снова заговорил, понурив голову: — Мы будем гореть в аду за то, что нам не хватает воображения. Мы и представить себе не можем, к каким ужасным последствиям приводят подобные открытия.

Он поднял глаза и с невыразимой тоской посмотрел на Дуга.

— Иисус пришел на землю двадцать веков тому назад, а человек существует уже пять тысяч веков. И все эти тысячелетия люди прожили в неведении и грехе. Понимаете ли вы, что это значит! Но в нашей душе так мало милосердия, что мы над этим никогда не задумываемся. А нам бы следовало думать о людях, трепеща от любви и страха. Мы же считаем, что выполнили долг свой, если нам удалось спасти несколько грешных душ.

— Вы полагаете, что бог проклял тех, кто жил до рождества Христова? Я думал, что, согласно учению церкви, поскольку они грешили в неведении...

— Знаю... прекрасно знаю... Возможно, они и находятся в чистилище... Мы стараемся утешить себя этим... Но неужели вы думаете, что вечно блуждать в страшной пустыне

чистилища менее ужасно, чем гореть в адском пламени? Наши представления о справедливости восстают при мысли... Но у бога своя справедливость. Нам неведомы его предначертания.— И он шепотом добавил:— Неужели вы думаете, что это все меня не волнует? Смогу ли я чувствовать себя счастливым, воссев после отпущения грехов одесную господа, если буду знать, что миллионы несчастных душ осуждены гореть в геенне огненной? Я был бы в таком случае не лучше нациста, который преспокойно празднует рождество в кругу своей семьи, радуясь, что существуют концлагери.

Он протянул руку в сторону загона, где помещались тропи.

— Как мы должны поступить с ними? — спросил он, и голос его прозвучал, как крик, хотя он говорил почти шепотом.— Нужно ли оставить тропи в их первобытном неведении? Но как знать, действительно ли они пребывают в неведении? Если они люди, то они грешны. И они ведь даже не приобщились таинства крещения. Можем ли мы допустить, зная, какой удел ждет их в жизни будущей, чтобы они жили и умерли некрещеными?

— Что это вам пришло в голову? — вскричал пораженный Дуг.— Уж не собираетесь ли вы окрестить их?

— Не знаю,— пробормотал отец Диллигеи.— Я действительно не знаю, что делать, и это раздирает мне сердце.

* * *

Здесь, кажется, уместно дополнить изложение Дуга. Ему и впрямь пришлось слишком много рассказывать, и он не мог всего упомнить. Только постепенно Френсис узнавала о делах и днях экспедиции, начиная с удивительного открытия Крепса.

Когда улеглось первое волнение, заработала научная мысль, вернее, мысль исследовательская, или еще точнее, мысль практическая; сразу же стали думать, как полнее можно использовать эту сказочную удачу, каким образом извлечь из нее максимум выгоды для науки.

Для начала, чтобы быть поближе к тропи, лагерь переместился в вышеупомянутый амфитеатр, «который был облицован плитками лавы, как ванная комната». Амфитеатр

действительно был облицован чьими-то искусными руками. Каждая плитка в точности соответствовала размерам естественных выбоин (лава здесь напоминала ноздреватый швейцарский сыр). Большинство этих выбоин было заполнено костями животных.

Отец Диллиген и супруги Грим без труда рассортировали эту груду костей. Собранные скелеты по своему строению ничем не отличались от четвероруких животных, но были гораздо ближе к человеку, нежели любая из найденных до сих пор обезьян и даже синантроп.

И все же этих животных нельзя еще было отожествлять с неандертальцем, которого, несмотря на диспропорцию верхних и нижних конечностей, выдающуюся вперед маленькую голову и согнутый позвоночник, считают уже не обезьяной, а человеком, поскольку при раскопках вместе с ним были обнаружены различные предметы, сделанные его собственными руками.

Больше недели не удавалось увидеть живых тропи. Вторжение экспедиции, конечно, испугало их. Отсутствием тропи воспользовались, чтобы обследовать их пустые пещеры. Повсюду были следы огня, подстилки из листьев и несметное количество обтесанных камней. Однако стены были совершенно чистыми: ни рисунков, ни знаков.

В противоположность человекообразным обезьянам, которые питаются корнями растений, фруктами и лишь иногда насекомыми, многочисленные остатки пищи, найденные в пещерах, показали, что тропи — животные плотоядные. Между прочим, установили также, что мясо на кострах они не жарят, а коптят самым примитивным способом. Под выступами скалы было найдено несколько припрятанных кусков копченого мяса тапира и дикобраза, которые тропи, спасаясь бегством, не успели захватить.

— Существа, способные действовать подобным образом, конечно, люди! — воскликнул Дуглас.

— Не увлекайтесь,— отрезала Сибила.— Вы не видели, вероятно, как бобры строят плотины, меняют течение рек, превращают зловонные болота в города, более пригодные для жизни, чем Брюгге и Венеция. А знаете ли вы, что муравьи заготавливают себе впрок грибы, разводят скот, что у них есть свои кладбища? Когда речь идет о существах, находящихся ниже определенного уровня развития, трудно сказать, действует ли тут инстинкт или разум. Истинно научную, зоологическую классификацию нельзя основывать

на таких вещах. Если бы лошадь научили играть на рояле не хуже Браиловского, она от этого не стала бы человеком. Она так бы и осталась лошадью.

— Однако вы не отправили бы ее на живодерню,— заметил Дуглас.

— Как вы умеете все запутать! — ответила ему Сибила.— Не об этом же идет речь!

— Может быть, это и не имеет отношения к вашим ископаемым обезьянам, которые жили миллион лет назад,— хотя у отца Диллингена есть свое особое мнение на сей счет. Но тропи-то живые существа!

— Ну, и что?

— А ну вас,— сердито огрызнулся Дуг.— Сами-то вы кто? Человеческое существо или логарифмическая таблица?

Но сочувственная улыбка Диллингена вернула Дугу спокойствие.

Тем временем Грим пустил в ход маленький радиопередатчик, взятый экспедицией в основном на тот случай, если бы вдруг пришлось просить помощи. Сообщение, которое он послал в Сугаран, было тотчас же передано в Сидней и на Борнео. Как стало известно позднее, Антропологический музей Борнео только пожал плечами (если, конечно, можно так выразиться). Но Сидней заволновался. Богатый антрополог-дилетант отправил к ним сперва один геликоптер, а следом за ним и другой. Спустя две недели в лагере раскинулось семь новых палаток, появился врач-терапевт, патологоанатом, два кинооператора, биохимик со своей походной лабораторией, два механика с тоннами проволоки и стальных стоек и, наконец, фантастическое количество банок с консервированной ветчиной, ибо стало уже известно, что тропи страшные лакомки. Действительно, через несколько дней тропи начали возвращаться в свои пещеры, сначала очень несмело, а затем,— обнаружив там разложенные на всякий случай Гримом куски ветчины,— поспешно и радостно. Повсюду зажглись костры — тропи коптили ветчину, что было очень забавно, потому что они съедали ее тотчас же. И скалы снова огласились звуками, которые Крепс называл лопотаньем, а отец Диллинген — речью.

— Речь! — иронизировал Крепс.— Не потому ли, что они произносят «Ой-ой!», когда им больно, и «О-ла-ла!», когда чему-нибудь радуются?

— Они не говорят ни «ой-ой», ни «о-ла-ла»,— торжественно отвечал отец Диллиген.— Можно явно разобрать отдельные звуки, уверяю вас. Мы их не различаем только потому, что они не похожи на наши. Но если их дифференцировать хоть раз, потом дело пойдет легче. Я уже начинаю понимать язык тропи.

Крепс утратил свой сарказм, когда спустя несколько дней отец Диллиген проделал опыт, закончившийся вполне успешно.

Диллиген негромко крикнул два раза — и скалы тотчас же погрузились в странное молчание. Он опять крикнул — и сотни тропи одновременно выглянули из своих жилищ. Снова и снова прозвучал его крик — и тропи насторожились, словно в ожидании чего-то, а потом с лопотаньем скрылись в пещерах.

— Что вы им сказали? — воскликнул Крепс.

— Ничего особенного,— ответил Диллиген.— Сначала я крикнул так, как обычно они кричат, предупреждая об опасности, потом попытался повторить их крики удивления и, наконец, решил окончательно поразить их воображение: известил их криком о приближении стаи перелетных птиц. Во всяком случае, я был в этом убежден, и я надеялся, что они хотя бы поднимут головы. Но или я плохо их понял, или неправильно воспроизвел этот звук.

— Как бы то ни было,— отозвался Дуглас,— профессор Крепс прав: эти крики нельзя назвать речью.

— А, собственно говоря, что вы называете речью? — спросил отец Диллиген.— Если вы удостаиваете этого наименования грамматику, то многие первобытные племена с вашей точки зрения вообще не умеют говорить. Ведды Цейлона располагают всего лишь одной-двумя сотнями слов, которые они выкладывают при разговоре одно за другим. Когда различные сочетания членораздельных звуков обозначают предметы или выражают ощущения и чувства, по-моему, их уже можно считать речью.

— Но тогда, по-вашему, птицы тоже говорят?

— Да, если угодно, но их песни слишком бедны модуляциями, чтобы считаться речью.

— А разве крики тропи достаточно разнообразны? В общем мы попали в знаменитую историю с грудой камней,— вздохнул Дуг.— Сколько требуется слов или членораздельных звуков, чтобы речь можно было назвать речью?

— В этом-то вся загвоздка! — ответил отец Диллиген.

* * *

Таким образом, каждый раз, когда бедный Дуглас считал, что наконец-то путеводная нить в его руках, она ускользала или же не приводила ни к чему определенному. Его поддерживало лишь то (весьма сомнительное) утешение, что отец Диллиген был еще несчастнее.

— Теперь вы видите, отец,— говорил ему Дуг,— что страдаете понапрасну? Если даже тропи и люди, как вы сможете совершить над ними обряд крещения без их согласия?

— Если бы надо было ждать согласия людей для того, чтобы их окрестить,— вздохнул Диллиген,— как бы тогда крестили новорожденных?

— И в самом деле, почему же их тогда крестят?

— В своем ответе Пелагию святой Августин дал этому точное объяснение: душа каждого родившегося ребенка отягощена первородным грехом. Католическая вера учит нас, что все люди рождаются уже настолько грешными, что даже дети осуждаются на вечные муки, если они умрут, не возродившись во Христе. Будучи бенедиктинцем, я не могу подвергнуть сомнению слова того, кто, в сущности, заложил основы нашего учения. Итак, если тропи люди — пусть даже они грешат в неведении,— они греховны, и только крещение может смыть с них первородный грех, а тем временем они прозреют, поймут, что́ творят, и уже сами станут отвечать за спасение своих душ. Ведь тех, кто умрет без крещения, ждет если не адское пламя, то в лучшем случае — вечное безмолвие чистилища. Могу ли я примириться с мыслью, что по моей вине они будут обречены на такие страшные муки?

— Тогда окрестите их! — сказал Дуг.— Чем вы рискуете?

— Ну, а вдруг они животные, Дуглас, не могу же я дать им святое причастие. Это было бы просто святотатством! Вспомните,— добавил он, улыбаясь,— ошибку святого старца Маэля, который по своей близорукости принял пингвинов за мирных дикарей и, не теряя времени, окрестил их. По свидетельству летописца, эта акция привела в страшное замешательство все царство небесное. Как принять в лоно божие душ пингвинов? Наконец совет архангелов решил, что единственный выход — превратить их в людей. Так и сделали. После чего пингвины перестали уже грешить в не-

ведении, и им самым законным образом были уготованы адские муки.

— Ну, тогда не крестите их!

— А вдруг они люди, Дуглас!

Сибила хохотала до слез над терзаниями отца Диллигена. Она заставляла его объяснять себе энциклику «Humani generis» *, в которой церковь устанавливает точную зоологическую границу между человеком и животными.

— Но вот в том-то и дело, что эти злосчастные тропи находятся на самой границе, как Чарли на рубеже Мексики и Техаса в конце фильма «Пилигрим»; одна нога там, другая здесь,— стонал отец Диллиген.

— Подождите, отец,— успокаивала его Сибила,— потерпите немного. Над нами не каплет. Наши славные тропи могут подождать с крещением еще несколько месяцев.

— Но как быть с теми, которые успеют умереть за это время?

А умирало их действительно очень много, причем независимо от возраста, что́ в какой-то степени компенсировало их редкостную плодовитость. Не проходило и дня, чтобы тропи не выносили покойника из своих пещер. Но до сих пор никому из экспедиции не удалось увидеть обряда похорон. В некрополе они больше не хоронили,— возможно оттого, что там расположился лагерь, а возможно, они покинули его еще раньше. Видно было только, как тропи с ловкостью макак взбираются на скалы и исчезают затем в долинах, унося свой погребальный груз.

«Потом нам без особого труда удавалось находить похороненные ими тела,— писал Дуглас Френсис.— И кажется, тропи даже не заметили нашей коварной проделки: четыре ночи подряд мы выкрадывали из одной и той же выбоины в лаве трупы, которые они там оставляли. И только на пятую ночь, когда мы вставили плиту на место, они перешли к соседнему отверстию.

Я присутствовал на вскрытии, которое производили Тео и Вилли (врач-терапевт и патолого-анатом). Во всех случаях результат был один и тот же: некоторые органы почти не отличаются от человеческих, другие типичны для человекообразных обезьян. По данным вскрытия решить что-либо невозможно. Особенно смущает вид

* «О человеческом роде» *(лат.)*.

мозга. Почти такие же извилины, как и у человека. Однако борозды менее отчетливые и глубокие. По мнению Вилли, умственное развитие тропи вполне возможно. Есть все основания полагать, что в этом отношении можно добиться немалых успехов.

С тех пор как я послал Вам свое последнее письмо, нам удалось поймать несколько самцов, самок и детенышей тропи, всего около тридцати. Хотя, пожалуй, здесь не подходит слово «поймать». Мы завлекли их и обольстили. Завлекли ветчиной и обольстили при помощи радио. Ясно, что это самые смелые экземпляры и в то же время самые отъявленные попрошайки. В конце концов они начали ходить за нами по пятам и прижились в лагере. Мы поместили их в специальном «загоне», рядом с нашими палатками, но так, чтобы их не могли видеть сородичи. Они вполне счастливы и не собираются никуда уходить. Ежедневно несколько новых попрошаек-тропи приходят в лагерь и присоединяются к живущим у нас. Несмотря на решетку, которой обнесен загон, я уверен, они не понимают, что находятся в плену.

Мы заставляем их выполнять различные тесты, чтобы выявить их умственные способности. Вы читали в «Человекообразных обезьянах», как это делается, и знаете, что полученные результаты иногда просто ставят в тупик; например, если шимпанзе умственно развит более, чем орангутанг, и гораздо быстрее решает задачи на хитрость (как схватить далеко лежащие фрукты, открыть замок и т. д.), то орангутанг, превращая железный брус в нечто вроде рычага и пользуясь им для того, чтобы раздвинуть прутья своей клетки, обнаруживает способность соображать, совершенно неожиданную для животного.

Наши тропи ушли недалеко от этих обезьян. У тропи более подвижные руки, напоминающие руки пигмеев, с длинными, хорошо развитыми пальцами. Указательным пальцем они часто показывают на отдаленные предметы (чисто человеческим жестом). Однако их возможности весьма ограничены. Они высекают огонь, ударяя двумя обточенными кремнями над лишайником. В их присутствии мы поджигали спичками бумагу. Сначала они просто испугались, потом любопытство взяло верх. Они долго следили за нами, старались воспроиз-

вести все наши движения, но им понадобилось очень много времени, чтобы установить в данном случае причинную связь. Наконец самый сообразительный из них понял роль спичек. Но он никак не мог усвоить, каким концом надо чиркать. И только случайно чиркал тем концом, каким полагается.

Но зато отцу Диллигену удалось обучить их пятишести английским словам — обычным словам трехлетнего ребенка. Первое слово, которое они смогли сказать, было «ham» (ветчина), затем «zik» (музыка), что означало требование включить радио (радио они обожают). Но это, по-видимому, тоже еще ничего не доказывает. Уже много лет назад, сказал мне Диллиген, некий Фэриес добился таких же результатов от орангутанга. Только время покажет, сумеют ли наши тропи превратить эти слова в связную речь.

Одного из тропи Диллиген научил даже узнавать букву «h», показывая ему банки с ветчиной, на которых была написана эта буква. Теперь тропи умеет отыскать ее среди прочих, говорит «ham», когда ее видит, и даже может написать карандашом. Но все это он выполняет только за вознаграждение, когда же он сыт, то не знает, что делать с карандашом. Он не проявил ни малейшего интереса к тем картинкам, которые рисовал ему отец Диллиген, впрочем так же, как и ко всем другим рисункам и фотографиям, которые ему показывали. Было ясно, что он их просто «не видит».

В этом отношении тропи, следовательно, ближе к обезьяне, чем к человеку. Но в то же время многие факты могли бы доказать обратное. Их лица гораздо более выразительны, чем у орангутангов, на которых они в общем очень похожи. Они умеют смеяться, и, если считать, что смех свойствен только человеку, они такие же люди, как и мы с Вами. Не берусь утверждать, что им не знакомо чувство юмора! Другое дело, что они смеются над теми же пустяками, что и двухлетние дети.

Но интереснее всего смотреть, как они обтесывают камни. Если бы не их покрытое рыжеватой короткой шерстью тело, сгорбленное, как у гориллы, если бы не слишком короткие ноги и не слишком длинные руки — фактически четыре руки, если бы, наконец, не срезанная линия лба и не клыки, то, глядя, как они работают,

Вы вполне могли бы принять их за каких-нибудь ремесленников или первобытных ваятелей. Они ударяют по камню с необычайной точностью, отбивая от него сначала крупные, а потом все более и более мелкие куски. Удары становятся все легче и осторожнее. Они обтесывают камень до тех пор, пока он не примет формы яйца с острыми боками.

Конечно, странно, что они целыми днями изготовляют эти камни, ведь у них нет никакой возможности их применить,— я говорю о тех тропи, которые находятся в «загоне». Совсем маленькие детеныши уже берутся за работу; сначала у них получается не очень ловко, они попадают себе по пальцам, а все вокруг смеются.

Однажды Диллигену пришла в голову мысль показать им, как обтесывать камень при помощи настоящего молотка и долота. Тропи так и не научились пользоваться долотом, но из-за молотка началась настоящая ссора, так как они поняли, что молотком камни обтесывать гораздо быстрее. Другими словами, усовершенствовать методы работы они способны, но не в состоянии понять, что сама-то работа бесцельна. Вроде крольчих перед окотом: устройте им гнездо — они все равно с прежним рвением будут выщипывать у себя шерсть, хотя уголок для будущих детенышей уже готов.

Как видите, Френсис, мы совсем не продвигаемся вперед. Или, вернее, я сам не продвигаюсь вперед, так как ведь, кроме меня (если не считать отца Диллигена), по-прежнему никого не волнует вопрос, принадлежат ли тропи к роду человеческому.

На днях я по-настоящему поссорился с Сибиллой. Она сказала:

— Мало того, что этот вопрос не имеет никакого смысла, он еще затормозил бы нашу работу. Наша обязанность вести объективные наблюдения. Если же мы начнем доказывать что-то, вся наша работа полетит к черту. Вы рассуждаете как журналист, которому важнее всего броский заголовок: «Можно ли считать тропи человеком?» Но науке чужды такие грубые приемы. Поэтому, прошу Вас, отстаньте от меня раз и навсегда с этим вопросом.

Я ответил:

— Хорошо. Но представьте, что завтра у меня по-

явится желание поохотиться на тропи. Вы разрешите мне это или нет?

— Вы просто глупы, Дуг. Вы так же не вправе убивать их, как шимпанзе или утконосов. Закон охраняет вымирающие виды.

— На вашем месте я не очень бы гордился подобным ответом. Хорошо, я поставлю вопрос по-другому: если бы нам пришлось голодать, а вокруг не было бы никакой дичи, кроме тропи, могли бы вы со спокойной совестью есть их мясо?

— Противный человек! — сказала Сибила, поднялась и тотчас же вышла из палатки.

Но она мне так и не ответила...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дозволено ли христианам готовить себе обед из мяса тропи? Носильщики-папуасы решают этот вопрос. Отчаяние отца Диллигена растет. Лагерь в унынии. Визиты тропи. Их дружба с Дугом и его спутниками. Первое отступление от научной объективности. Акционерная компания фермеров Такуры. Австралийская шерсть и английская конкуренция. Бесплатная рабочая сила и проекты технического переоборудования текстильной промышленности. Будут ли продавать тропи как рабочий скот? Второе отступление от научной объективности. Колумбово яйцо. Щекотливое предложение. Отец Диллиген в негодовании.

Как ни странно, именно так встал вопрос в один прекрасный день. Или, вернее, в одну прекрасную ночь, в ту самую ночь, когда в лагере носильщиков-папуасов необычно ярко запылали костры. «Что это они там затеяли?» — с удивлением спросил Крепс. Дуг увидел, что отец Диллиген поднялся и, не говоря ни слова, исчез в темноте; он направился к лагерю, где при свете горящих костров можно было различить десятки темных силуэтов, не то кружившихся в пляске, не то размахивавших руками.

— Святой отец беспокоится о своей пастве,— иронически улыбнувшись, заметила Сибила.— Они еще не слишком тверды в своей вере.

В лагере часто подшучивали над отцом Диллигеном, пытавшимся обратить папуасов в христианство. И в самом деле, несмотря на все увещания, новообращенные продолжали покрывать свои тела татуировкой. С той только разницей, что теперь среди прочих замысловатых рисунков можно было увидеть крест и терновый венец. Подобное кощунство приводило святого отца в такую ярость, его громовой голос звучал так грозно, что несчастные заблудшие овцы в смертельном ужасе застывали на месте.

Дуг и его друзья замолчали и стали прислушиваться, ожидая очередной бури. Но все было тихо.

Бенедиктинец возвратился бледный и растерянный. Молча, ни на кого не глядя, опустился он на свое место.

— Ну, как,— спросил Крепс,— что они там делают? Кому это они поклоняются: Вишну, луне или еще кому?

Но отец Диллинген лишь оглядел всех блуждающим взглядом и, покачав седой головой, сделал не совсем понятное движение рукой, как будто медленно поворачивал вертел.

— Они их поджаривают,— произнес он наконец.

— Кого? Вишну и луну?

— Нет, тропи.

Произойди подобное «тропоедство» месяца на два раньше, ни один из членов экспедиции, кроме Дугласа и бенедиктинца, конечно, не придал бы этому большого значения. Отругали бы папуасов, пригрозили бы, что накажут их, если это еще когда-нибудь повторится. А между собой они, наверное, даже посмеялись бы, как смеются родители над шалостями своих детей.

Но за это время отношение к тропи у всех обитателей лагеря, даже у Крепса и Сибилы, значительно изменилось. Постепенно равнодушие и чисто научный интерес вытеснила самая искренняя симпатия. Симпатия, а порой даже неподдельное уважение и сочувствие. Конечно, чувства эти они испытывали не к тем ласковым, ставшим совсем домашними тропи, которые жили в загоне (к ним они привязались так, как привязываются к прирученным животным, таким милым и верным), а к тем, которые продолжали жить на воле среди скал. Ибо вскоре стало совершенно ясно, что их отчужденность объясняется не столько трусостью или недоверием, сколько независимым нравом.

Если первые небольшими группками с визгом и шумом сразу же стали толпиться у лагеря, выпрашивая куски ветчины, — той самой ветчины, из-за любви к которой они в конце концов отказались от свободы, вторые, наоборот, в течение нескольких недель не удостаивали лагерь своим посещением.

Но вот в одно прекрасное утро к лагерю приблизился старый тропи. Неторопливо, без малейшего признака страха подошел он к лагерю и, как будто для него в этом не было ничего необычного, начал медленно прохаживаться среди палаток с невозмутимым, чуть скучающим видом завсегдатая выставок. Его решили не трогать, сделали вид, что на него вообще не обращают внимания. И он с непринужденностью парижского зеваки останавливался то здесь, то там, разглядывая вещи и людей. Его определенно заинтересовало белье, сохнувшее на ветру, казалось, удивило присутствие стоящего в специальном укрытии геликоптера, привел в восхищение работающий двигатель генератора и совер-

шенно покорный вид бреющихся механиков с лицами в мыльной пене.

Наконец отец Диллинген осторожно приблизился к тропи и, остановившись шагах в десяти, издал короткий гортанный звук. Старый тропи даже не вздрогнул, он внимательно посмотрел на святого отца, но не подал голоса. Отец Диллинген, не сходя с места и продолжая улыбаться, снова повторил тот же мягкий звук, но так и не добился ответа. Зато тропи, переложив в левую руку отточенный камень, который он, по-видимому прятал в правой, медленно погладил себя по волосатой груди, как бы желая этим жестом выразить свое миролюбие и кротость.

Ничего интересного больше в этот день не произошло. Правда, когда тропи уходил, Дуг попытался предложить ему большой кусок ветчины, но в ответ получил высокомерный, подчеркнуто пренебрежительный отказ. Дуг не стал настаивать, и старый тропи с величавым спокойствием удалился.

На следующее утро явилось уже десять или двенадцать тропи. Был ли среди них вчерашний знакомец? Этого никто не мог бы сказать. Тропи слишком походили друг на друга, или, вернее, жители лагеря еще не научились отличать их друг от друга. Но в одном можно было не сомневаться: пришли только одни старики.

Они так же невозмутимо и неторопливо осмотрели лагерь, напоминая отставных чиновников, впервые рискнувших выехать за пределы родной провинции. Замешкавшийся догонял своих товарищей, опираясь при беге на слишком длинные руки, как это обычно делают обезьяны. Было заметно, что они проявляют далеко не одинаковый интерес к одним и тем же предметам. Так, мыльная пена на лицах бреющихся на сей раз не привлекла их внимания. И даже работающий двигатель генератора, мимо которого никто из них не мог пройти равнодушно, воспринимался также по-разному: здесь, видимо, сказывались вкусы каждого из них. А один из тропи относился с подчеркнутым равнодушием ко всему тому, что привлекало внимание его друзей. Он оглядывался на своих спутников с видом терпеливого отца, который устал ждать, пока его сынишка налюбуется витринной игрушечной лавки.

Тем временем старейшины лагеря — Грим и отец Диллинген — уже ждали гостей, усевшись по-турецки прямо на землю, между двух палаток. Они разложили вокруг себя с

десяток консервных банок. Тропи остановились в изумлении. Святой отец повторил тот же короткий гортанный звук, что и накануне. Тропи сразу зашумели, залопотали, но не тронулись с места. Тогда Грим и отец Диллинген поднялись, отец Диллинген, обращаясь к тропи, снова издал несколько мягких звуков, и они с Гримом скрылись в ближайшей палатке. Увидев, что посторонних нет, тропи снова залопотали, а затем, благосклонно приняв дары, всей толпой направились к своим скалам; правда, двигались они куда живее, чем их флегматичный предшественник.

С тех пор тропи все чаще и чаще стали появляться в лагере. Однако во время своих посещений они никогда не выпрашивали подачек. Напротив, посещения эти можно было бы скорее всего назвать «визитами дружбы». Да, именно дружелюбие и любознательность приводили все новые и новые группы тропи в лагерь. Особой любознательностью отличались молодые: они обследовали лагерное оборудование с жадным любопытством мальчишек, попавших впервые на паровозостроительный завод. Мало-помалу они начали не без удовольствия помогать жителям лагеря выполнять ту часть работы, которая требовала простого подражания. Примечательно, что самок с собой они никогда не приводили.

Однако никто из них не задерживался в лагере надолго. Никто ни разу там не заночевал. Однажды решили произвести довольно коварный эксперимент: открыли двери загона. Но бо́льшая часть пленников даже не переступила порога. Те же, которые вышли, вернулись на ночь обратно.

— Мы подобрали самых бездельников,— заметил Крепс.

И вот как-то утром Крепс, Дуг и доктор Вильямс (друзья звали его просто Вилли) решили в свою очередь отправиться в скалы. Им отплатили столь же учтивым приемом, какой был оказан самцам тропи во время их первого посещения лагеря: то есть хозяева, сделав вид, что не обращают на гостей ни малейшего внимания, позволили им спокойно осмотреть все самое интересное. И через несколько недель между лагерем и скалами наладилось постоянное движение.

Крепс и его друзья почувствовали к тропи еще больше симпатии и уважения, когда увидели, что те живут мирной, на редкость демократичной общиной. Никаких вожаков, ничего, даже отдаленно напоминающего «совет старейшин». Просто молодые подражали старикам — учились так же искусно охотиться, так же осторожно и храбро защищаться

от общего врага (вспомните, как на следующий вечер, после того как экспедиция обосновалась у скал, лагерь забросали камнями; и хотя нападение больше не повторялось, тропи бдительно следили за своими соседями).

Со временем каждый обитатель лагеря обзавелся друзьями, но отношения между ними ничем не напоминали покорной привязанности собаки к своему хозяину; это была дружба равного с равным. Молчаливая дружба ради простого удовольствия побыть вместе: так у Дуга появилось трое друзей, которые почти не покидали его. Одному из них особенно нравилось открывать консервные банки (причем сам он, пока его не угощали, никогда не притрагивался к содержимому), а двое других предпочитали мыть бутылки, которые они умудрялись доводить до хрустального блеска.

Дуг попытался дать каждому из них кличку (сами они себя никак не называли), приучить их откликаться на зов, но безуспешно. Он хотел также научить их произносить свое имя, но и эта попытка не увенчалась успехом. Казалось, вообще сама мысль о каком-то разграничении, об индивидуальностях была им абсолютно чужда.

Однако — и это сперва показалось странным — прирученные тропи в конце концов стали отзываться на данные им имена, на что отец Диллигеи совершенно справедливо заметил, что имена эти связывались у них с представлением об еде и что дело здесь, видимо, как и у собак, в условном рефлексе.

Он обратил также внимание и на другое обстоятельство: когда кто-либо из тропи хотел указать на себя, то начинал потихоньку бормотать, как будто вместе с воздухом втягивал в глубину легких звук «м-м-м». Когда же он хотел указать на другого, то как будто бы выплевывал сквозь сжатые зубы очень твердое «т-т-т». И святой отец не раз задумывался над тем, нет ли какой-нибудь связи между этими двумя звуками, вдыхаемым и выдыхаемым, и словами «мой» и «твой», которые почти на всех языках мира начинаются первое со звука «м», а второе — с «т» или «д».

Он утверждал также, что не раз вел настоящую беседу с одним из своих друзей на языке тропи — если, конечно, можно назвать беседой отдельные звуки, при помощи которых они сообщали друг другу, тепло сейчас или холодно, стоит день или уже наступила ночь... Пределом сложности был разговор, в результате которого оба они пришли к за-

ключенню, что огонь причнияет боль. Большего святой отец ие смог добиться от своего друга тропн. Впрочем, иадо быть справедливым: так же, как н тропн от своего друга Диллигена, нбо прн всех своих лингвистических способиостях святой отец не в силах был различать многие едва уловнмые звукн.

Одна только Снбила ие завела себе друзей среди обитателей скал. Не потому, конечно, что она испытывала к ним отвращение или не могла бы добиться нх благосклоииости; просто по некоторым признакам стало ясно, что ей ие следовало без особой на то надобности встречаться с самцами тропн.

Что касается папуасов, то они н тропи с первых же дней почувствовали друг в друге врагов. Между иими чуть лн не каждую минуту готовы былн вспыхиуть драки. Тихие, спокойиые тропи сразу же стаиовились похожими иа большого сторожевого пса, встретившего на улице чужую собаку: зубы ощерены, шерсть подиялась дыбом, слышится рычание. Папуасы отмалчивались. Но их взгляд, все их существо дышало жестокостью.

И все же иикто не ожидал, что в один прекрасный деиь оии смогут тайио предаться тропоедству. Все в лагере были глубоко потрясены, искреиие возмущены и по-настоящему опечалены. Понадобнлся весь авторитет отца Диллигеиа, все его красиоречие, дабы спастн виновных от слишком суровой кары.

И в то же время больше всех потрясло это злополучное приключение самого отца Диллигеиа, ибо он лишь недавио обратил своих папуасов в христианство. «Но, с другой стороны, в чем я, собственно говоря, могу их упрекнуть? — спрашивал он.— Кого съели они: животиых или людей? Мы сами еще ие в силах решить этот вопрос, как же можем мы требовать от папуасов, чтобы оии знали больше иашего?»

И иикому не приходило в голову улыбаться (каждый чувствовал себя в какой-то степени виновиым), когда святой отец патетическн задавал себе в сотый раз один и тот же вопрос: должен ли он исповедовать папуасов в совершенин ими смертного греха? Они вполне могут сделать вид, будто ие поиимают о чем идет речь, говорил он. А в таком случае, иа каком основании откажет он им в отпущении грехов без иаложеиия эпитимии. Требовать же от них раскаяния лишь за то, что онн предались чревоугодию, было бы лицемерием.

Правда, Дуг был в какой-то степени удовлетворен. Он вскоре убедился, что Сибила не смеет смотреть ему в глаза. Но хотя он и одержал победу после недавнего спора, сейчас ему было не до торжества. Ибо дальнейшие события, таящие в себе гораздо большие опасности, нежели тропоедство папуасов, со всей ясностью показали правоту Дуга и отца Диллигена, и теперь все члены экспедиции и даже Сибила с Крепсом желали как можно скорее решить проклятый вопрос: люди тропи или нет?

* * *

Операторы ежедневно снимали тропи, но им не всегда удавалось поймать в объектив киноаппарата обитателей скал, а потому большинство кадров было посвящено пленникам, выполнявшим свои очередные тесты. Съемки, таким образом, шли в двух направлениях: с одной стороны, готовился игровой фильм для широкой публики, с другой — снимались кадры, имеющие чисто научный интерес. Это были, так сказать, своеобразные дневник и архив экспедиции.

Геликоптеры, отправлявшиеся за продуктами, отвозили в лабораторию австралийской фирмы, приславшей своих операторов, уже заснятые пленки, которые там и проявлялись. Что же, собственно говоря, произошло? По всей вероятности, среди владельцев фирмы и их гостей, для которых в узком кругу демонстрировали эти кадры, находился некий Ванкрайзен, один из крупных дельцов, известный своей акульей хваткой.

Надо признать, что тесты, которые в последнее время выполняли прирученные тропи, не могли не навести на определенные размышления. Это была уже не столько проверка умственных данных тропи с целью установить их способности к наблюдению и размышлению (тут, как мы видели, тропи мало чем отличались от человекообразных обезьян), сколько проверка их восприимчивости с целью узнать, могут ли они усваивать и повторять определенные жесты, движения, выполнять ту или иную работу. Известно, что любого шимпанзе можно очень быстро научить одеваться, зашнуровывать ботинки, накрывать на стол, есть ножом и вилкой, курить сигару, ездить на велосипеде или верхом на лошади. В колониях нередко шимпанзе не хуже слуг выполняют всю домашнюю работу. Этот первый этап — этап несложных работ был быстро пройден тропи. Под руководст-

вом двух механнков они с поразительиой быстротой научились обращаться с металлическимн частямн машии, иаходить н даже подбнрать иужиые детали; правда, их так н не смогли научить обращаться с буравом, ио зато оин с явиым удовольствием надевали болты и завинчивали гайки. Оии былн иеобычайно терпеливы в работе, напомииая этим слонов; правда, их нужио было время от времеии ободрять ласковым словом, хвалить, а главное, в качестве поощрения давать кусок-другой ветчииы. К тому же они были иеобычайио выиосливы н не зналн усталости.

И ие удивительно, что Ванкрайзен увидел в этих беззащитных существах весьма дешевую рабочую силу. Отдельные подробиости, в сущиости, особой роли ие играют. В общем Ванкрайзеи тут же вспомиил об Акциоиериой компании фермеров Такуры, основаниой лет десять-двеиадцать иазад для разведок недр этого еще не изученного массива и иыне почти прекратившей свою деятельиость. В то время предполагали, что иа севере имеются большие запасы нефти. Оии действительио существовали, ио в течеиие двух лет были полностью исчерпаны. Правда, на западе обиаружнлн несколько сот гектаров каучуконосов, и благодаря этим плаитациям компаиия с грехом пополам смогла продолжать свою деятельиость. Она сдавала также в аренду отдельиым обществам охотничьи угодья. Бесспорио, все это иавело Ванкрайзена на мысль, что по концессии, даиной компаиии, за ией остается нсключительное право иа эксплуатацию флоры и фауны во всей Такуре. Проверить это оказалось делом иесложиым, и, как выясиилось, все тропи — и те, которые жили среди скал, и те, которые, возможио, иаселяли соседние долииы,— действительио по закоиу прииадлежалн компанин фермеров.

Сам Ваикрайзен коитролировал в Сидиее одио из крупнейших предприятий по переработке шерсти. Почти за бесценок ои скупил через его посредство большиииство акций компаиии фермеров. Как только они очутились у иего в карманe, он вызвал к себе некоего Греиета, который был тесио связан как с правительствеииымн кругами, так н с шерстепрядильиой промышлеииостью.

Как известио, иммиграция в Австралию строго ограиичена и находится под контролем соответствующих оргаиов. Уровеиь жизни там довольно высок, рабочей силы мало, н рабочие руки дорогн. В силу этого огромное количество шерстн, которое ежегодно дают бесчислеииые отары овец,

пасущиеся на плоскогорье, не может обрабатываться на месте: естественно, что австралийские ткани по цене не в состоянии выдержать конкуренции английских. Шерсть поэтому отсылается в Англию, где она обрабатывается и поступает на фабрики.

— Вы уже видели фильмы о тропи? — спросил Ванкрайзен Гренета.

— Нет,— ответил тот.— А что это такое?

— Пойдемте, увидите сами,— сказал Ванкрайзен и повел Гренета с собой.

— Ну, а что вы теперь скажете? — спросил он после просмотра.

— По правде говоря...— начал Гренет.

— Представьте себе их,— начал Ванкрайзен,— на ткацкой фабрике... Три тропи вместо одного рабочего.

Гренет взглянул на него и даже рот открыл от удивления.

— Я уже все прикинул,— продолжал Ванкрайзен.— Тридцать или сорок тысяч тропи, пройдя соответствующую подготовку, смогли бы под руководством специалистов обработать две трети всей шерсти, получаемой в Австралии. А расходы самые пустяковые: питание, ну, и кое-какой уход. Мы в два счета обставили бы англичан.

— Черт возьми,— пробормотал Гренет.— Мы могли бы отбить у них американский рынок.

— Without taking our coats off *,— рассмеялся Ванкрайзен.— Если не ошибаюсь, в Такуре насчитывается около двух или трех тысяч тропи. Животное становится взрослым уже в десятилетием возрасте. Лет через пять около тысячи самок смогут дать нам необходимое поголовье. И самое позднее лет через десять-пятнадцать работа пойдет полным ходом.

— Что же вам для этого нужно? — спросил Гренет.

— В первую очередь, конечно, деньги,— ответил Ванкрайзен,— а также поддержка правительства.

— Деньги дадут вам скотоводы.

— Не нужно мне их денег,— возразил Ванкрайзен,— предпочитаю ссуду от правительства.

— Почему?

Ванкрайзен расхохотался и ответил вопросом на вопрос:

— Вы плохо их рассмотрели, что ли?

* Не вступая в драку (*англ.*).

— Кого, скотоводов?

— Нет, дорогой, тропи. Не слишком ли они похожи на настоящих людей?

Гренет с улыбкой пожал плечами.

— Да, да,— повторил Ванкрайзен.— Неужели, по-вашему, англичане не попытаются нам помешать?

— И вы полагаете, что...

— Конечно. Они таки постараются вставить нам палки в колеса. Начнут кричать о том, что мы не имеем морального права эксплуатировать этих слишком уж похожих на человека животных и прочее и прочее. Можете быть спокойны.

— И все-таки я не понимаю, при чем тут банки...

— Банки,— прервал его Ванкрайзен,— должны по горло завязнуть в этом деле. Если во время судебного процесса суду придется выбирать между моральным правом тропи и падением кредита австралийских банков, не сомневайтесь, выбор будет предопределен заранее. Понятно?

— Понятно. Что же вы собираетесь предпринять?

— Это зависит от вас, от того, что вы сможете добиться в правительстве. Необходимо немедленно субсидировать постройку ткацких фабрик, оборудованных по последнему слову техники. Неважно, каковы будут размеры самой субсидии: важно заставить банки вложить в предприятие необходимые миллионы... Вам ясна суть дела? Лишь сумасшедший согласится затем потерять такие деньги. Дайте только заполучить тропи, обратно мы их не выпустим. К тому же незачем дожидаться, пока их привезут. Надо уже сейчас построить образцовый лагерь с дортуарами, лазаретом, столовой, пригласить врачей, зоологов и т. д. И, конечно, открыть большую экспериментальную клинику. Ибо требуется развить их работоспособность, а главное сократить у самок период вынашивания детенышей. Тут, по-моему, нам на помощь должна прийти селекция. Вы ведь отчасти скотовод и должны разбираться в подобных вопросах.

— Все это так,— пробормотал Гренет.— Я даже думаю,— добавил он,— что не мешало бы также кастрировать самцов. Судя по фильмам, они очень неуравновешенны, это, пожалуй, их основной порок. Полагаю, что с ними произойдет то же, что и со всеми домашними животными: после кастрации они станут более покладистыми, но не потеряют работоспособности.

— Счастливая мысль! — воскликнул Ванкрайзен.

* * *

Гренет сразу же энергично, ловко и без лишних слов взялся за дело. Все уже было основательно подготовлено, когда экспедиция после восьмимесячного пребывания в Такуре возвратилась в Сидней. Она привезла с собой и поместила в Антропологическом музее около тридцати взрослых тропи обоего пола и несколько тропи-малышей.

Через несколько дней после возвращения Дугу позвонили в отель по телефону; звонили из «Сидней геральд» и попросили разрешения зайти к нему завтра утром. Дуг не придал значения этому разговору и только уныло подумал, что ему, видимо, придется вежливо выпроводить за дверь своего собрата: он действительно чувствовал себя не вправе делать какие бы то ни было сообщения для прессы, а тем более (если таково было желание редактора) давать в газету серию статей о тропи.

Посетитель с первых же слов успокоил Дуга: пришел он вовсе не ради статей. По его словам, у него просто были друзья среди сотрудников газеты. Сначала разговор шел о самых безразличных предметах. Элегантно одетый гость самоуверенно улыбался. Он несколько раз повторил, что решил встретиться именно с Дугласом, а не с кем-либо другим из членов экспедиции, ибо не сомневается в его сообразительности, и что сообразительность эта откроет перед мистером Темплмором весьма заманчивые перспективы. Так что в конце концов Дуг почуял, что за этими туманными фразами кроется какое-то сомнительное предложение. Он пошел на эту игру и выказал себя настолько сообразительным, что, возможно, даже превзошел ожидания гостя. Не прошло и часа, как он уже знал все о компании фермеров Такуры, о ее средствах и целях, знал и то, что они от него ждут; ему известна местность, дороги, нравы тропи, и он мог бы оказать им помощь в поимке первой партии животных.

Дуг даже поспорил о размере вознаграждения и в заключение просил дать ему время подумать. Не успел посетитель удалиться, как Дуг ворвался в комнату Гримов. Через час вся экспедиция в полном составе с ужасом слушала сообщение Дуга. Были также приглашены директор Антропологического музея и его «solicitor» *. Как только Дуг закончил свою речь, все взоры обратились к юристу.

* Адвокат (*англ.*).

С минуту адвокат сидел молча. Потом наморщил нос, энергично потер его указательным пальцем и спросил:

— Но, в конце концов, кто же эти тропи? Люди они или обезьяны?

Отец Диллинген, вскочив с места, воздел руки к небесам. И подобно мужу, выведенному из себя глупостью жены, он возмущенно отошел к окну.

Сибила взглянула на Дугласа. У нее было такое расстроенное лицо, что при желании свести с ней старые счеты Дугу ничего не стоило бы одержать победу. Но не этого он сейчас хотел. Его самолюбие было удовлетворено уже тем, что к нему первому обратила она с трогательной мольбой свои прекрасные, глубокие, как море, глаза. Гнев, горечь и даже угрызения совести боролись в ней; она нетерпеливо покусывала губы, ей необходимо было действовать, бороться.

Наконец Грим собрался с духом. Все это время он сидел, опустив глаза и смешно выпятив нижнюю губу, так что почти не видно было его маленького, красного, морщинистого подбородка.

Прищелкнув языком, он начал:

— Люди это или обезьяны? С нашей стороны было бы... гм... было бы... большой оплошностью,— пробормотал он, краснея,— а может быть, даже... гм... преступлением, если бы... если бы... в конце концов... было гм... вероятно... было невозможно... определить это.

И Грим поднял на адвоката влажный и тоскливый взор.

— То есть как невозможно! — воскликнул тот, вытаращив глаза.— Да самый темный пастух из саванн сразу же узнает человека. Даже зобастый кретин не станет колебаться в этом вопросе. Если в тропи нельзя с первого взгляда признать человека — значит, они обезьяны!

Грим тяжело вздохнул.

— Видите ли,— ответил он уже более уверенным тоном,— до сегодняшнего дня нам самим казалось, что все это именно так. И действительно... биологически... гм... самый последний дикарь настолько ближе... к любому британскому подданному, чем к шимпанзе, что даже ваш зобастый пастух... мог не хуже любого антрополога отличить grosso modo человека от обезьяны. Но разве это не показывает нам (продолжал Грим ко всеобщему удивлению уже без всяких запинок), что сами антропологи до сего-

дняшнего дня не нуждались в особой проницательности, дабы отличить их друг от друга. Почему же довольствовались они столь поверхностным изучением вопроса? Да потому, что им просто везло. Им везло потому, что вот уже пять тысяч лет как исчезли все промежуточные виды. И посему мы пребывали, как оказалось, в состоянии обманчивого покоя. С этой точки зрения,— добавил он вдруг жалобным тоном,— существование наших тропи настоящая катастрофа. Благодаря им мы вынуждены срочно решить вопрос, который мы по лености до сих пор обходили. Нам придется дать точный и исчерпывающий ответ: *каковы* характерные черты того существа, которое мы называем человеком? Не правда ли, прежде можно было и не торопиться,— продолжал он таким саркастическим тоном, что друзья его удивленно переглянулись,— ошибки исключались. Мы даже гордились, что остаемся таким образом в разумных границах науки. Главное,— провозглашали мы,— не выходить за пределы нашей области! Не доверять своим чувствам, остерегаться ловушек психологии, неточностей этики! Только не путать разные вещи!

Он снова вздохнул.

— Мы наслаждались своим собственным невежеством, ибо человек занимал совершенно особое место в животном мире, он настолько отличался от всех прочих живых существ, что даже ваш зобастый пастух не мог ошибиться. Если вам дадут очень горячую и очень холодную воду, вы ведь тоже не станете колебаться. Ну, а как быть с теплой водой? Как вы ее определите, если только, конечно, предварительно не договоритесь точно, при скольких градусах воду следует считать «горячей»? Именно это с нами и произошло ныне. Человека с шимпанзе не спутаешь: слишком велика разница. Ну, а вот между шимпанзе и плезиантропом, между плезиантропом и синантропом, синантропом и тропи, тропи и неандертальцем, неандертальцем и негритосом, между негритосом и вами, простите за сопоставление, дорогой мэтр, расстояние всякий раз приблизительно одинаковое. Если вы сможете сказать нам, где кончается обезьяна и начинается человек, вы окажете нам огромнейшую услугу!

— Если только, как вы сказали, предварительно не договоритесь?..

— Да...

— Так разве нельзя это сделать? Разве нельзя, пусть

даже с опозданием, потребовать, чтобы конгресс антропологов дал подобное определение?

Крепс расхохотался и звучно ударил себя по ляжке.

— От всего сердца желаю вам успеха в этом предприятии! — воскликнул он.— Но, уверяю вас, вы успеете поседеть, прежде чем ученые между собой договорятся.

— Разве это так трудно?

— Не то что трудно, дружище. Но существует слишком много различных мнений. Право, лучше просто бросить жребий: дело пошло бы куда быстрее, а результат был бы тот же. Еще триста лет назад Локк пытался разрешить вопрос, при какой степени уродства ребенок перестает быть человеческим существом, а следовательно, не может приобщиться к таинству крещения, ибо в противном случае за ним признали бы существование души. Видите, все это не так уж ново. И вы сами понимаете, что за три дня и даже за три месяца нельзя решить спор, который ведется уже столетия.

Адвокат посмотрел на Крепса отсутствующим взглядом. Потом снял очки и, протерев стекла, снова надел их.

— Что же,— сказал он,— если дело действительно обстоит так, боюсь, что компания фермеров добьется своего.

— Простите!..— воскликнула Сибила.

Адвокат вопросительно взглянул на нее.

— Ведь существуют же,— продолжала она,— законы, охраняющие от истребления вымирающие биологические виды. По-моему, можно сыграть на этих законах.

— Можно-то можно,— возразил адвокат,— но лишь в том случае, если компания собиралась бы послать тропи на бойню. Но она, напротив, хочет оградить их от превратностей жизни в пустыне, намерена позаботиться об их существовании, гигиене, питании и даже о размножении. Она без труда докажет, что этот закон в данном случае не имеет к ней никакого отношения. Конечно, музей мог бы потребовать принятия специального закона об охране тропи... Но вы сами понимаете, сколько это займет времени. Да и добьется ли еще — неизвестно. Вы же знаете, у компании — железная хватка. Кроме того, здесь замешаны слишком крупные дельцы. Так что, видите ли,— заключил он,— если нельзя доказать, что тропи не являются животными, никто не сможет помешать их законным владельцам обращаться с ними, как с лошадьми или слонами. Одним словом: либо тропи — часть фауны Такуры, либо — часть ее населения. Или то, или другое, третьего решения нет.

— А вы что можете предложить? — спросил Дуг, помолчав.

— Надо подумать,— ответил юрист.— В настоящий момент я вижу лишь два способа действий. Первый — добиться, чтобы какое-нибудь авторитетное официальное учреждение, скажем, вроде Royal Academy of Science * дало бы не вызывающее споров научное определение, но, судя по словам мистера Крепса, это невозможно. Второй же — получить судебное решение, которое ipso facto ** исходило бы из того, что тропи люди. Таким образом у нас был бы прецедент. И это, пожалуй, более реально...

— То есть?

— То есть... Предположим, мистер Темплмор берет себе в услужение тропи... Но жалование ему не платит... Тропи обращается в суд, его защищает известный адвокат. Суд решает дело в пользу тропи. Таким образом, за ним, за этим тропи, признали бы такие же права, что и за мистером Темплмором, другими словами — права человека.

— К несчастью, это невозможно! — отрезал отец Диллинген, по-прежнему стоя спиной к присутствующим.

— Но... почему же?

— Тропи может принести присягу, только будучи человеком. Иначе это святотатство, да и не будет иметь никакой законной силы. И потом, как вы хотите, чтобы в качестве истца перед судом выступило существо, не имеющее гражданского состояния? Получается заколдованный круг. И вы сами понимаете, что компания фермеров не станет молчать.

— Мне кажется, мы упускаем из виду самое существо вопроса,— негромко произнес Вилли.

Все, кроме отца Диллингена, который в позе яростного спокойствия застыл у своего окна, обернулись к говорившему.

— Мы ведь не Общество покровительства животным,— добавил тот.

— Ну и что? — с тревогой спросил Дуглас.

— Чего ради мы станем вмешиваться, если будет доказано, что тропи обезьяны? Разве только для того, чтобы вообще поставить под сомнение право человека пользоваться трудом домашних животных. Опираясь на какие моральные принципы, можем мы протестовать против

---

* Королевская академия наук *(англ.)*.
** В силу самого факта *(лат.)*.

планов компании фермеров? Ведь в таком случае ее намереиия не только разумны, но и похвальны; оии должиы облегчить жизнь человечеству, избавить его от нзвестиой доли тяжелого труда. Не так ли? — обратился ои к Дугласу.

— Да, действительно...— ответил тот сдержанио.

— Итак,— снова заговорил Вилли,— плаиы компании можно иазвать преступными только в том случае, *если* тропи не являются обезьяиами, если они, так же как н мы, принадлежат к человеческому роду. К тому же, еслн это будет доказано, планы компании сразу же рассеются как дым, нбо торговля рабами запрещеиа, по крайней мере на территории Соединениого Королевства. Но если, иапротив, будет доказаио, что тропи животиые, мы обязаиы, дорогие друзья, не только ие препятствовать компаиии фермеров, но и сделать все возможное, дабы прн помощи прирученных тропи облегчить труд человека. Мне кажется, что вот тут в какой-то степени мы попались на удочку собствеиных чувств. За эти полгода мы слишком привязались к иашим тропи. А иам следует быть объективиыми. И мы с вами должиы не столько думать о судьбе тропи, сколько о том, как бы в одии прекрасиый деиь ие оказаться соучастииками преступлеиия, если только в коице коицов будет признаио, что тропи люди. В сущности, проблема ие так уж нова. Когда была открыта Америка, встал вопрос об иидейцах: кто эти двуиогие существа, которые, обитая по ту стороиу океана, никак не могут претендовать иа право имеиоваться потомками Адама н Евы? Их прозвали тогда «бесхвостыми шимпанзе» и начали вовсю торговать ими. Не повторить той же ошибки — вот в чем иаша задача. А все прочее не должно нас интересовать. Согласиы вы со миой или иет? — обратился ои к присутствующим. Но никто не ответил на его вопрос.

— Да,— сказала иакоиец Сибила твердым голосом.

— Ну, что же, милые мои друзья,—улыбиулся Вилли,— пока что нам гордиться иечем. Нет ничего легче, чем определить цель. Простите меия, Кутберт,— обратился он к старому Гриму,— но вот уже полгода мы с вами рассуждаем как аитропологи или даже как палеонтологи. Как будто наши тропи — нскопаемые. Но ведь они живые, черт возьми, живые, как утки или крокодилы. Живут себе и размиожаются! Не пора ли иам подойтн к вопросу с точки зреиия зоологов, как вы думаете?

При этих словах великан Крепс оглушительно расхохотался.

— Черт возьми! — воскликнул он.— Вот оно, колумбово яйцо!

— Пусть будет так,— согласился Вилли.— Что мы называем видом? — продолжал он.— Группу животных, пусть даже внешне не похожих друг на друга, но дающих при скрещивании нормальное потомство, способное к дальнейшему размножению. Возьмем, к примеру, датского дога и померанского шпица, они похожи друг на друга не больше, чем кошка на жирафа, но при скрещивании дают потомство. Потому-то мы и относим их к одному и тому же виду — виду собак. И, наоборот, лев похож на пантеру, но, скрестив их, потомства не получишь, и, следовательно, их мы относим к разным видам. Вы понимаете мою мысль? Давайте попробуем скрестить человека и самку тропи. В зависимости от того, удастся наш опыт или нет, все сразу станет ясным.

Отец Диллиген обернулся. Он был необычайно бледен, он не сразу нашел в себе силу заговорить, и голос его звучал хрипло. Он сказал, что, если только нечто подобное произойдет, он навсегда удалится в бенедиктинский монастырь, укроет в его стенах свой вечный позор.

— Но почему же, отец? — воскликнул Вилли.— Ежедневно и скотоводы и исследовательские институты производят самые разнообразные скрещивания! Тут нет ничего особенного... Впрочем, успокойтесь,— добавил он, по-видимому догадавшись, что́ именно возмущает монаха.— Вы сами понимаете, что я не имею в виду естественное оплодотворение!.. В настоящее время и врачи и биологи располагают столь совершенными средствами, что подобного рода эксперименты потеряли двусмысленный и неприятный характер. Кроме того...

— Боже мой, это же содомский грех! — воскликнул отец Диллиген.— Животные не могут грешить, и нет никакого греха, если в интересах животноводства или науки используются их инстинкты. Это вполне дозволено, когда мы желаем вывести мула или путем скрещивания пытаемся создать новые породы. Но человек — это же божественное создание!.. И те извращенные приемы, о которых вы говорите, лишь прикрывают, но ни в коем случае не снимают ужаснейшего святотатства.

— Постойте, постойте, отец мой,— сказал Вилли.—

Если тропи люди, значит самки их — женщины, и грех, которого вы так боитесь, вполне простителен, особенно если принять во внимание преследуемую нами цель. Конечно, я знаю, что церковь осуждает подобного рода эксперименты даже между супругами. Но осуждает их она, исходя из соображений семейного и нравственного порядка. И, поскольку я сам не раз делал подобного рода операции, я знаю, что церковь не так уж нетерпима и порой закрывает на них глаза. Мне кажется, что если мы таким путем могли бы спасти от рабства...

— Ну, а если тропи обезьяны? — отрезал отец Диллиген.

— И в этом случае ничего тут плохого нет. Ничего не произойдет, а мы по крайней мере будем знать...

— Вы рассуждаете так,— возразил отец Диллиген,— как будто вообще не существует гибридизация: можно скрестить собаку и волка, ослицу и жеребца и даже корову и осла и получить ублюдков. Вы ни в чем не можете быть уверены. Я лично отказываюсь быть соучастником подобной профанации. Если же вы все-таки на это решитесь, пеняйте на себя.

И, не добавив больше ни слова, не оглянувшись на присутствующих, которые молча и растерянно смотрели ему вслед, он вышел из комнаты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Короткая телеграмма и еще более краткий ответ. Неожиданности, таящиеся в пустыне. Чистосердечное признание — мужество слабых. Опыт, чреватый самыми неожиданными последствиями. На сцену выступает расизм. Джулиус Дрекслер ставит под сомнение «видовое единство современных людей». Восторг в Дурбане. Люди ли негры?

Несколько недель спустя Френсис, которой Дуглас после своего возвращения в Сидней писал каждый день, принесли телеграмму; в это время она как раз работала над своей новой большой новеллой. Телеграмма пришла из Австралии и гласила с предельной краткостью:

Телеграфьте согласие наш брак

Дуглас

И все. Хотя предложение было для Френсис не совсем неожиданным, внезапность его породила тревогу и недоумение, оттеснившие радость. Вряд ли она тут же решила: «он в опасности»; вернее всего, ей просто стало страшно. Она поняла также, что ответить должна немедленно, не раздумывая. Подойдя к телефону, она продиктовала еще более лаконичный ответ:

Согласна

Френсис

И, немного успокоившись, она начала перебирать в уме все возможные причины посылки телеграммы.

* * *

Кроме одной, которая шесть дней спустя поразила и еще более, чем она ожидала, встревожила ее. Шесть долгих дней, в течение которых она ничего не получила — ни письма, ни открытки. И наконец в понедельник (в тяжелый для нее день) пришло письмо, которое все объяснило.

«Фреисис, дорогая (говорилось в письме), сегодня утром я получил Ваш ответ на свою телеграмму, и сердце мое переполнила радость.

И хотя я знаю, уверен, Вы поняли, что я не могу обещать Вам счастья, что со мною Вас ждут испытания,— не знаю, догадываетесь ли Вы, насколько они велики.

С чего бы начать, Фреисис? Впрочем, это нетрудно: мои колебания — чистое притворство; я должен начать с признания, с признания тяжелого и унизительного.

В течение этих долгих месяцев, Фреисис, проведенных в пустыне, я не смог сохранить Вам верность... Сибила? Да, это она... Уменьшит ли мою вину перед Вами то обстоятельство,— а это истинная правда, клянусь Вам,— что сердце здесь ни при чем? Вы не знаете Сибилы, вернее, почти не знаете. Я же знаю ее с детства. Странная девочка, странная женщина. Безнравственная? Аморальная? Как Вам сказать? Все это не то. Для нее не существует общепринятых мнений. Обо всем она судит сама. Про нее нельзя сказать, что она отбросила все условности: просто условности никогда для нее не существовали. В шестнадцать лет она взяла себе в любовники тридцатилетнего мужчину. Она полностью подчинила его себе, переделала на свой лад, но бросила, почувствовав его ограниченность. Ее брак со старым Гримом вызвал настоящий скандал, но она даже бровью не повела, и скандал затих сам по себе. Вполне возможно, она так и не узнала об этом; во всяком случае, вела она себя, словно ничего не произошло.

И вот, Фреисис, прекрасной звездной ночью, скорее прохладной, чем жаркой, каких здесь бывает немало, эта женщина спокойно вошла ко мне в палатку. «Мой милый Дуг,— сказала она не без иронии,— излишние размышления вредны». Затем сбросила халат и спокойно, с естественностью раковины, смыкающей свои створки, прильнула ко мне всем своим ослепительным телом. И тут же, закрыв мне рот рукой, прошептала: «Вино, Дуг, надо пить тогда, когда чувствуешь жажду»,— и опустилась на постель. Что оставалось мне делать? А потом... надо сказать правду, это оказалось сильнее меня. Вероятно, мне

самому тоже хотелось пнть. Не зиаю, будет ли Вам от этого легче илн же Вы окоичательио возиегодуете, ио я должен сказать, что в ту мииуту я обратнлся к Вам с иемой мольбой, что я молил Вас простить мне мои грехи! Как бы то ни было, но это тоже истинная правда.

Правда н то, что за первым падеиием последовали другие. И хотя ии разу эти языческие забавы не иачинались по моей иинициатнве, Френсис, я не мог отказаться от иих, тем более, что им сопутствовала такая простота, такая естественная грацня. По крайней мере до нашего приезда в Сидией.

Не стану, ие хочу красиво опнсывать свои чувства, оправдывать себя, вымалнвать у Вас прощение: я сам бы себе стал противен. А самое главное: это было бы уж слншком некстати; ибо, любимая моя, хотя самое страшиое в моем призиаиии уже сделаио, я ие сказал Вам еще самого важного.

Я приият ужасиое решеиие, Фреиснс. Не зиаю, к чему это все прнведет. По правде говоря, ничто, абсолютио иичто меия ие прииуждало. Но кто-ибудь должеи был сделать то, что собираюсь сделать я. Не в моем характере — Вы это прекрасио знаете — приносить себя в жертву. Напротив, сама мысль о самопожертвоваиин претит мие. Но разве я могу уклониться от того, что *должно* быть сделано, если я однн в состоянин выполнить это?

Но я хочу, Фреисис, дорогая моя, чтобы Вы были вместе со мной. Хочу приият решеиие вместе с Вамн. Хочу, чтобы вы одобрили мой поступок. Хочу, чтобы мы после спокойиых размышлеиий вместе пришли к этому иеизбежиому выводу. И мие было бы слишком тяжело, если бы в одии прекрасиый деиь мой поступок показался Вам мальчишеским, романтичным, театральиым.

О, как мне нужна Ваша поддержка, Френсис, если, коиечно, после моего прнзнаиия Вы сохраиите ко мне хоть чуточку уважеиия и любви. Вот почему я решил Вам во всем прнзиаться. Согласитесь, меия ничто к этому ие выиуждало. Я оказался не слишком-то честным н снльиым, ие слишком-то героическим субъектом, ио миого лн на свете мужчии могут бросить в меия камеиь? Вы бы иичего ие узиали, а, как говорнл

мой отец, «то, чего я не знаю, не существует». Я не защищаю себя, Френсис, нет. Более того, признаюсь Вам: при других обстоятельствах я без малейших угрызений совести хранил бы благоразумное молчание. Быть может, это не слишком похвально, но я всегда считал, что чистосердечные признания порой просто отвратительны: они приносят лишь вред. Да, я бы Вам ничего не сказал. В конце концов Вы никогда не спрашивали меня о моей личной жизни, так же как и я Вас — о Вашей.

Но Вы должны узнать мои недостатки, прежде чем я поведу рассказ о своих достоинствах. Я просил Вас стать моей женой, Френсис, и Вы согласились. Но знайте, *Вас это ни к чему не обязывает*. Очень скоро я стану героем скандальной истории, и мы все — а нас немало, и я в том числе — вместо того, чтобы замять грядущий скандал, делаем все возможное, чтобы раздуть его еще больше. По всей вероятности, мне придется предстать перед судом. Возможно, меня даже повесят. Вот какая судьба ждет человека, который сейчас, пока он еще на свободе, просит Вашей руки.

Так вот что произошло, Френсис...»

Тут только Френсис заметила, что читает она машинально, почти не понимая написанного. Сердце ее учащенно билось, и перед глазами неотступно стояла эта развращенная Сибила, которая «с естественностью раковины, смыкающей свои створки», прильнула к Дугу. Наморщив лоб, она перечла письмо с начала, стараясь уловить смысл слов, но он ускользал, как ртуть между пальцами. Ей показалось, что она наконец поняла. «И с кем,— прошептала она,— с этой Сибилой».

«...Уже с субботы все сомнения отпали...» — прочла она и подумала: «И у него хватает бесстыдства...» Перевернув страницу, она прочла дальше: «Если бы мы только послушались отца Диллигена...»

«...но кто мог бы подумать, что *все* эти опыты с искусственным оплодотворением принесут положительные результаты? Вы правильно прочли, Френсис, все. Поскольку мы были почти уверены, что скрещивание с человеком ничего не даст, то как добросовестные

биологи произвели одновременно скрещивание со всеми наиболее близкими к человеку видами обезьян: шимпанзе, гориллой, орангутангом. И все эти опыты удались.

Однако с той точки зрения, которая нас интересует, опыт потерпел полное фиаско: он ничего не объяснил, ничего не доказал. Проблема так и осталась нерешенной, более того, она еще осложнилась, ибо теперь возникает новый мучительно трудный вопрос, который предвидел и которого так боялся отец Диллинген: кем будут эти несчастные детеныши, родившиеся от скрещивания тропи с человеком? Промежуточными существами, в которых окончательно будут смешаны все признаки, маленькими полулюдьми-полуобезьянами, о которых по-прежнему будут вестись бесконечные споры...

При чем тут я, спросите Вы?

Дело в том, Френсис, что отцом всех этих несчастных маленьких тропи буду я. Я догадываюсь, о чем Вы сейчас подумали: «Опять он что-то скрыл от меня». Почему я сделал такую глупость, почему я добровольно согласился участвовать в подобном опыте? И почему я Вам ничего не сказал? Потому что я сам в глубине души чувствовал, что совершаю глупость. И вы, конечно, не преминули бы меня упрекнуть. Почему же все-таки я на это пошел? Попытаюсь Вам объяснить.

Но прежде всего, дорогая, Вы не должны ненавидеть Сибилу, хотя по ее вине я заставляю Вас страдать. Если она и совершает зло, то, надо полагать, по неведению самой природы зла. Да и творит ли она зло? Она действует — другие страдают. Разве можно обвинять огонь за то, что он жжется, а холод — за то, что от него коченеют? Она, как и стихии, не осознает того, что творит, а ведь само понятие зла предполагает сознание того, что́ есть зло.

Сибила — прежде всего ученая женщина в самом чудовищном смысле этого слова. Для нее нет ни в жизни, ни в области духа ничего святого, кроме научных изысканий и методов исследования. Прежде чем приступить к опыту скрещивания человека с тропи, нужно было решить один довольно-таки сложный практический вопрос: найти мужчину, который сумел

бы сохранить тайну. И вот Сибиле показалось, что самым простым, да и самым верным было бы... По правде говоря, ей стоило лишь намекнуть, и, конечно, в назначенный день я подчинился всем необходимым биологическим и юридическим операциям. Используя новейшие научные методы, доктор Вильямс произвел искусственное осеменение шести самок, прошедших пятинедельный карантин и находившихся под наблюдением. И лишь значительно позднее вместе с чувством известной тревоги мне пришло в голову, что было бы лучше, если бы в этом случае воспользовались не только моими услугами и сделали бы таким образом вопрос отцовства менее ясным. По правде говоря, Френсис, в глубине души я не верил, я думал, что ничего не выйдет, что самки не понесут.

В конце концов, при любых других обстоятельствах вся эта история меня бы лишь позабавила. Но то, что произошло в дальнейшем, не дает мне права отделаться шуточками, а тем более отмахнуться от случившегося.

Обычно нелегко бывает установить, кто именно не сумел сохранить тайну. Так или иначе, но Акционерная компания фермеров почти сразу же узнала о наших опытах. А затем ей стали известны и их результаты. До поры до времени она хранила молчание, а теперь словно с цепи сорвалась.

Антропологический музей получил официальное требование возвратить компании ее законную собственность, тридцать тропи («а также,— гласит документ,— весь имеющийся или ожидающийся от них приплод), незаконно вывезенную из области, фауна коей находится в полном и безоговорочном владении Акционерной компании фермеров». Цель этого послания ясна — спровоцировать судебный процесс, а это как раз то, чего мы и сами хотели. Но сейчас суд бы начался в очень невыгодных для нас, вернее для тропи, условиях. По существующим законам, дело рассматривалось бы в гражданском суде, как чисто коммерческое, и с этих позиций компания фермеров непременно выиграла бы процесс. Мы не имели никакого права увозить из Такуры животных, а тем более дарить их музею. Поэтому-то необходимо придать делу другой оборот, перевести его на иную почву, до-

казать, что претензии компании необоснованны, ибо тропи являются не фауной, а населением Такуры. Но тем самым музей признает себя виновным в незаконном похищении и лишении свободы людей, и Вы понимаете, что при такой постановке вопроса нам еще труднее будет выпутаться; конечно, нельзя рассчитывать, что в атмосфере подобного скандального процесса, напоминающего скорее фарс, может быть найдена объективная истина. Слишком просто можно побить музей его же собственными доводами: если он действительно считает тропи людьми, то ему придется признать, что место их скорее уж за ткацким станком, нежели в железной клетке... Все неизбежно превратится в глупый смешной фарс, а судьба тропи, возможно, решится навсегда.

Юридический совет музея предлагает любой ценой избежать процесса, признать за Акционерной компанией фермеров право собственности на тропи, но попросить компанию в интересах науки на известное время «уступить» или даже продать некоторое количество экземпляров. Уже само признание ipso facto, что тропи по своей природе животные, даст в руки компании достаточно сильный козырь, и она, вне всякого сомнения, не откажется от подобного компромисса. А для нас это тоже единственная возможность выиграть время.

И это еще не самое страшное, Френсис. Вместе с письмом посылаю Вам статью, которая недавно появилась в Мельбурне, в одном из самых больших австралийских журналов. Вы ее потом прочтете. Написана она Джулиусом Дрекслером, известным антропологом, но человеком весьма сомнительной репутации, который, как известно, находится на откупе у старика Ю. К. Пендлтона, одного из крупнейших мельбурнских биржевых гангстеров. У последнего нет более могущественного конкурента, чем Ванкрайзен, а Ванкрайзен держит в своих руках все нити управления компании фермеров...

Итак, Вы, наверное, решите, что Пендлтон не прочь провалить начинание своего соперника, умело поставив под сомнение в этой столь не ко времени появившейся статье вопрос о природе тропи? С первого взгляда кажется, что автор льет воду на нашу мель-

ницу. Но, как Вы увидите из дальнейшего, статья чертовски может нам напортить. Ибо, судя по всему, Пендлтон собирается затеять еще более чудовищное и гнусное дело. Во всяком случае, ясно, что статья Дрекслера широко открывает двери для самых мерзких преступлений.

Статья задумана очень хитро. Бедняга Грим в ярости твердит: «Этому подлецу даже возразить нечего. С точки зрения палеонтологии он прав. И он это прекрасно знает!» Что же, собственно, говорит Дрекслер? Он говорит, что открытие Paranthropus'а greamiensis (это тропи, дорогая...) не только подтверждает все то, что мы уже знаем о происхождении человека, но — и это самое главное — показывает, насколько несостоятельны все наши представления о самом человеке, или, вернее,— говорит он (нет, Вы только подумайте!),— о тех различных биологических видах, которые мы до сих пор неправильно объединяли под этим общим именем. Относя Paranthropus'ов к виду «homo» *, пишет он далее, мы тем самым признаем, что в этот вид можно включать и четвероруких индивидуумов (не говоря о многих других присущих обезьянам чертах, которые мы обнаруживаем у вышеупомянутых Paranthropus'ов); если же, наоборот (что, по-видимому, вполне кое-кого устраивает, добавляет он), не признавать их принадлежности к виду homo, то по какому праву мы тогда называем «человеком» ископаемое с челюстью шимпанзе, кости которого были найдены близ Гейдельберга, или неандертальца, отличающегося от тропи всего лишь несколькими деталями в строении скелета? А также почему мы называем человеком ископаемое, найденное в Гримальди, которое тоже мало чем отличается от перечисленных выше, или же кроманьонца, или, наконец, африканских пигмеев, цейлонских веддов, или тасманцев, чья черепная коробка еще менее развита, чем у кроманьонца, а крайние коренные зубы все еще имеют пять бугорков, как у человекообразных обезьян? Появление на сцене тропи, пишет он, доказывает всю несостоятельность наших упрощенных представлений о единстве человеческого вида. Единого чело-

* Человек (*лат.*).

веческого вида не существует, существует лишь большое семейство гоминид, своеобразная лестница оттенков, на верхней ступени которой находятся белые, то есть настоящие люди, а на самой нижней — тропи и шимпанзе. Пора отбросить наши старые представления, основанные на чувствах, и раз навсегда научно установить последовательность промежуточных групп, «ошибочно именуемых человеческими».

Ошибочно именуемых человеческими! Итак, на наших глазах готов возродиться уродливый призрак расизма со всеми своими адскими спутниками. И какого расизма, Френсис! Расизма, во имя коего уже завтра целые народности могут лишиться права числить себя в рядах человечества, а следовательно, лишиться всех человеческих прав, дабы какой-то Пендлтон смог продавать их как рабочий скот! Где же в таком случае, Френсис, пройдет граница? *Она пройдет там, где ее захотят провести сильные мира сего.* Представьте себе только, что произойдет с туземным населением колоний или с неграми в Соединенных Штатах, где также существует дискриминация! Да и вообще со всеми этническими меньшинствами!

По сути дела, это уже началось. Все газеты Южно-Африканского Союза под броскими заголовками перепечатали статью Дрекслера. «Дурбан экспресс» поспешила поставить вопрос: «Люди ли негры?»

Следовательно, Вы понимаете, моя дорогая, что отныне речь уже идет не только о судьбе тропи, даже не о судьбе моего потомства. Боюсь, что вопрос придется ставить гораздо шире. Сейчас уже недостаточно только установить, люди тропи или нет — это лишь частный случай, одна сторона главного вопроса: речь идет о том, чтобы человечество, хочет оно того или нет, определило раз и навсегда, что же оно собой представляет, дало полное и исчерпывающее определение, которое не допускало бы различных кривотолков. Такое определение, при котором права и обязанности человеческого общества по отношению к своим членам строились бы не на зыбкой основе спорных традиций и преходящих чувств, церковных заповедей или узко кастовых требований, что, в сущности, шатко и слишком уязвимо, а на гранитном фунда-

менте, на четком знании того, что же на самом деле отличает человека от прочего животного мира.

Если его отличает то, что у него есть душа, то надо будет установить, по какому признаку мы определяем ее наличие.

Если его отличает то, что он живет обществом, надо будет точно сказать, чем же отличаются примитивные общества людей от обычного стада животных.

Если его отличает что-то другое, надо будет уточнить, что же именно.

И вот, Френсис, я в состоянии потребовать,— нет, правильнее сказать: я могу заставить весь огромный и величественный судебный аппарат Соединенного Королевства ответить на этот вопрос. И меня не удовлетворит, если он просто призна́ет или не призна́ет за тропи право называться людьми: пусть он также определит и во всеуслышание заявит, на каком основании принято такое решение.

Понимаете ли вы всю важность подобного юридического прецедента? И поскольку я — только я один — могу добиться этого, имею ли я право уклоняться? Даже если в этом споре я рискую потерять не только свое счастье, но, быть может, и жизнь?

Без риска ничего сколько-нибудь значительного не добьешься, Френсис. А Вы понимаете, что пустяками британское правосудие с его вековыми традициями не проймешь. Для этого придется совершить нечто поистине грандиозное.

Я не могу доверить свой план клочку бумаги и превратностям почты. Но Вы, конечно, уже поняли, какое это опасное и трудное предприятие.

Теперь Вы знаете все, Френсис. Согласны ли Вы выйти за меня замуж?

Я Вас люблю.

Дуглас».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Иерархия чувств в сердце женщины. Прогулка под дождем. Рассудок побеждает. Странная пассажирка. Масонское братство женщин. Дерри и Френсис. Френсис и Сибила. Роды Дерри. Первое крещение человеко-обезьяны. Первые затруднения с записью гражданского состояния. Страшная ночь.

Пробежав глазами последние строчки, Френсис аккуратно сложила письмо вчетверо, потом нарочито спокойно поднялась с дивана, на котором она лежала, вытянувшись во весь рост, не спеша причесалась, подкрасила губы, закурила сигарету и, набросив плащ, вышла из дому — за покупками, решила она. Но она миновала бакалейную, мясную лавку, миновала булочную, даже не повернув головы, даже не выглянув из-под капюшона, который надвинула на самый лоб. Моросил мелкий и частый дождь, похожий на брызги морского прилива; сквозь него проступали неясные, как будто полинявшие очертания холмов Хемпстед-хиса. Гравий на дорожке скрипел под ногами.

«Вот так иммунитет!..» — подумала она и попыталась было улыбнуться. Да, еще недавно она верила, что у нее выработался иммунитет. В последний раз страсть ворвалась в ее жизнь года три назад, но в ту минуту, когда почва уже уходила у нее из-под ног, она огромным усилием воли сумела выйти победительницей. Бедный Джонни! Легкомысленный, непостоянный Джонни, Джонни нарушитель спокойствия... Она, как обычно, бросила ему «до свидания» и даже помахала Джонни из окна вагона. Но она уже знала, что никогда больше его не увидит. Целый месяц, а то и больше он ежедневно писал ей — сначала письма, полные недоумения, потом гнева, потом пошли уговоры, слова нежности, упреки, угрозы, горькая ирония, бешенство и мольбы. Она не рвала эти письма: она их читала. Читала, рыдая от раскаяния и переполнявших ее желаний, но так она испытывала свою волю и стойкость. Наконец перестала читать: на смену пришли усталость и пустота. «У меня выработался иммунитет», — думала она не без гордости,

Любить? Это еще возможно. Но страдать? Никогда в жизни. Разве нельзя любить не страдая? И разве не следует любить не страдая? Страдания любви унизительны. Она не позволяла себе такой роскоши, как страдания. И презирала тех женщин, которые потрясали, как славным знаменем, «своим возвышенным, но — увы — разбитым сердцем».

Она даже начала писать новеллу, где рассказывалась история женщины, для которой любовь без страдания — не настоящая любовь: действительно ли ты любишь, если тебе не приходится страдать? Героиня новеллы чувствует себя униженной и падшей. И в конце концов уходит от этого слишком положительного человека, который дарил ей слишком безмятежное счастье.

Иммунитет... Разве не подтвердили их спокойные отношения с Дугом, что Френсис действительно приобрела иммунитет? Пусть она любит его, а он ее нет (по крайней мере, так ей казалось) — она от этого не страдает. Когда же, наконец, в один прекрасный день Френсис поняла, что и Дуг ее тоже любит, его захватила и увезла на целый год вместе со своим багажом эта женщина. Нелепые обстоятельства его отъезда приводили Френсис в ярость. Но чувствовала ли она себя несчастной? Почти нет. То, что она испытывала, нельзя было назвать страданием. Тут была терпеливая суровая надежда, напряженное ожидание весточки от него, иной раз тревога и даже — нечего греха таить — легкие уколы ревности. Но страдания, слава богу, нет! «Хватит, я больше не способна страдать...», — думала она.

С гладких листьев каштанов падали крупные капли дождя и глухо разбивались о ее капюшон.

И вот теперь началось все сначала. И все из-за этого несчастного журналиста. Непокорное сердце заныло, хотелось кричать, и потом снова эта острая боль, такая нестерпимо знакомая, пронизывающая насквозь все тело... И все из-за этой размазни, из-за этого бесхарактерного непостоянного мальчишки...

Она закусила кончик носового платка. Этого еще недоставало — плакать! Нечего сказать, красивая сцена! Френсис яростно высморкалась. Правая нога соскользнула в лужу. Надо было надеть туфли на каучуке.

И с кем? С этой Сибиллой! С этой гробокопательницей! И у него еще хватает наглости писать мне: «В эту минуту

я думал о Вас!» Идиот, идиот, трижды идиот! И я страдаю из-за такого идиота! «Не знаю, будет ли Вам от этого легче или же Вы окончательно вознегодуете».

Надо же быть таким дураком!

Она даже не подумает ему ответить. Нет, ответит! «Мне казалось, что Вы непохожи на других,— напишет она ему.— Я любила Вас за то бесконечное доверие, которое я испытывала к Вам. Вы растоптали мое чувство».

Целый час шагала она среди деревьев, сочиняя свое прощальное послание — великолепное и беспощадное. Но, поставив последнюю точку, она почувствовала, что в душе у нее пустота, тоскливый холод, такой же унылый, как эта пелена дождя. Вдруг она спохватилась: я даже забыла о его тропи. Она пожала плечами. Дождь становился все сильней и наконец перешел в настоящий ливень. Френсис туже стянула вокруг шеи шнурок капюшона. И вдруг вспомнила слова из его письма: «Возможно, меня даже повесят». Что еще за ерунда! — подумалось ей. Типичный газетный стиль!.. Его повесят! И он воображает, что она поверит... С какой стати его будут вешать? Она не поняла и половины в этой путаной истории с тропи. Эту часть письма, несмотря на самые благие намерения, она прочла как в тумане. Надо бы перечитать ее, подумала она, чувствуя, как в душу закрадывается тревога и раскаяние. Что же было написано в конце? «Жестокое и кровавое дело». Нет, слова «кровавое» там, кажется, не было. Впрочем, не было и «жестокое». Почему же тогда ей на ум пришло слово «кровавое»? Там же написано «опасное и трудное». Но почему же все-таки она решила, что «кровавое»? Страх зашевелился в душе, охватил все ее существо. Она быстрее зашагала к дому. «Опасное и трудное предприятие»,— вспомнила она подлинные слова. Но что предстоит ему сделать? И почему, почему «опасное»? Она почти бежала.

Спустя час страдания Френсис, не потеряв своей остроты, приняли иной характер. Не то чтобы она простила Дугласу измену, но она перестала называть его про себя «несчастным журналистом» и «размазней». Она снова взяла письмо, прочла и перечла последнюю страницу. И она знала,— да, хорошо знала,— что он выполнит все, о чем пишет. О мужчины, непонятные животные! С одной стороны, полнейшая бесхарактерность перед

этой мерзкой Сибилой, а с другой — такая решительность и мужество. И ради кого? Ради тропи. В первую минуту она почувствовала себя вдвойне оскорбленной. Но комизм происшедшего помог ей взять себя в руки. Еще раз перечитав письмо, она уже могла судить обо всем более здраво. Прежде всего она поняла, что с первой до последней строчки его письмо проникнуто глубокой и сильной любовью к ней, и, согретая этим открытием, Френсис должна была признать, сколько в Дуге подлинного благородства и мужественной требовательности. Короче, она поняла, что, по трезвому размышлению, бедный Дуг заслуживает скорее уважения и даже восхищения, нежели презрения и гнева.

Настолько заслуживает, что она даже начала обвинять себя. Теперь, когда она разобралась во всем, история тропи показалась ей куда значительнее и важнее, чем ее собственные переживания. Ей стало стыдно. Внезапный порыв материнской любви к изменнику охватил ее, и неверность Дугласа, заброшенного в пустыню, представилась ей минутной слабостью, вполне простительной под небом пустыни. Даже Сибилы коснулась эта неожиданная умиротворенность.

Отныне душа Френсис была открыта всем треволнениям. А вместе с треволнениями в ней проснулось непреодолимое желание быть рядом с Дугом. Только бы не оставлять его наедине с химерами. Если, к несчастью, думала она, уже слишком поздно предотвратить глупый шаг, пусть по крайней мере мы вместе разделим его последствия. Она послала телеграмму: «Поженимся немедленно», словно можно было немедленно пожениться, будучи разделенными расстоянием в двенадцать тысяч миль. Влюбленные, строя свои планы, не склонны принимать в расчет реальные обстоятельства. Но каким образом добраться к Дугласу без гроша в кармане? Ничего, она что-нибудь придумает. Или Дуг найдет какую-нибудь возможность вызвать ее к себе. Или они смогут оформить свой брак заочно. Разве в случае чрезвычайных обстоятельств закон не допускает подобную регистрацию браков? Нельзя же в самом деле помешать людям жениться только по той идиотской причине, что жених и невеста находятся на разных концах света.

Через два дня Френсис получила в ответ довольно длинную телеграмму. Дуг извещал о своем возвращении в Лондон. «Еду не один»,— писал он. Первой мыслью Френсис было, что он возвращается с Сибилой, и на какое-то мгно-

вене ярость ослепила ее. Когда же, наконец, Френсис поняла, что, по всей вероятности, речь идет о тропи, она снова почувствовала себя «подлой» по отношению к Дугу. Но потом ей пришло в голову, что, если он не упоминает о Сибиле, это еще не значит, что и она не едет вместе с ним. Вскоре пришло письмо, но и оно не рассеяло ее сомнений, не пролило свет на загадочное «еду не один». Дуг просто писал, что Крепс, отец Диллинген и Гримы также готовятся к отъезду. Еще через несколько дней Дуглас сообщил, что он летит самолетом. Сначала Френсис успокоилась: не может же действительно один самолет захватить всю экспедицию со всем багажом и тропи. Но, с другой стороны,— они всегда могут разделиться.

Френсис так ничего и не узнала вплоть до того дня, когда, наконец, она очутилась на аэродроме возле Слау и, не спуская глаз с туманного неба, ждала прибытия пассажирского самолета из Австралии.

* * *

Из самолета уже вышли все пассажиры, а Дуг еще не появлялся. Френсис потеряла было всякую надежду, когда она вдруг увидела его в дверях кабины. Сердце ее заколотилось: Дуглас был не один, он держал под руку какую-то женщину... Френсис сразу же отметила, что незнакомка была гораздо ниже ростом и гораздо полнее прекрасной Сибилы. «Малайка»,— пронеслось у нее в голове, так как путешественница была одета по-индийски, в просторном сари, чудесного желто-коричневого цвета. И, конечно, у нее больные глаза, иначе чего ради в такой сумрачный день она не снимает темных огромных очков, закрывающих чуть ли не половину лица. О, кажется, она замужем? Пассажир, который вышел из самолета последним, тоже весьма предупредительно подхватил ее под руку.

Так втроем они спустились по приставной лестнице, и Дуглас, увидев Френсис за белым барьером, улыбаясь, помахал ей рукой. Затем, все так же втроем, они пересекли поле между приземлившимся самолетом и зданием аэропорта. Женщина шла, слегка сгорбившись и неуверенным шагом,— так действительно ходят очень близорукие люди. Сопровождающие ее мужчины были полны предупредительности к своей даме.

Они вошли в здание аэропорта. И время, которое они там пробыли, показалось Френсис бесконечно долгим. Наконец первым вышел Дуглас. Они молча обнялись. Френсис беззвучно заплакала.

Когда (прошла всего одна минута или целый год?) Дуглас выпустил ее из своих объятий, совсем рядом оказалось поджидавшее их такси. Малайка и ее спутник уже сидели в машине. Дуглас помог Френсис войти. Машина тронулась, и вдруг Дуглас совершенно неожиданным жестом снял с лица туземки, забившейся в темный угол такси, ее огромные черные очки.

Френсис едва не вскрикнула, хотя сразу же поняла, кто перед ней. Но «этого» она никак не ожидала.

«Это», в сущности выражавшее ряд чувств, означало, что до последней минуты Френсис могла принимать это существо за женщину и что «у нее» именно такое лицо.

«Она похожа на мисс Мерриботэм»,— подумала она не без нежности, едва сдерживая смех. Мисс Мерриботэм в свое время пыталась научить младшего брата Френсис рисовать. В течение целого года она заставляла мальчика рисовать акварелью ветки остролиста, фиалки и бутоны роз. Иногда своею собственной рукой она подрисовывала синицу или ласточку. Держалась она очень важно, была полна печального достоинства, так плохо вязавшегося с ее смешным и звучным именем. Френсис вспомнила, какой безудержный смех охватывал их с братом, стоило им только увидеть ее полное меланхолического благородства лицо. Давясь от смеха, они закрывали рот ладонями, делая вид, что их душит кашель. Маленькая самка тропи была похожа на мисс Мерриботэм. Особенно выражением лица.

— Ну как, она вам нравится? — спросил в эту минуту Дуг.

Откровенно говоря — не считая этого первого впечатления,— Френсис было вовсе не до того, чтобы выяснить суждения о наружности спутницы Дуга: ее ум и сердце переполняли вопросы. Но как заговорить в присутствии незнакомого юноши? («А это Мимс,— сказал Дуглас,— из Сиднейского музея».)

— Она похожа на мисс Мерриботэм,— ответила Френсис и объяснила почему.— У вас все прошло гладко?

— Как бы не так,— ответил с улыбкой Дуг.— Нам понадобилось одиннадцать виз и куча справок, удостоверяющих, что ей сделаны различные прививки. Вы сами знаете, ка-

кую бурную деятельность требуется развить, чтобы достать такие бумажки даже для нас с вами. Так представьте, как мы намучились с нашей леди-дамой: животное мы вообще не смогли бы провезти с собой. К счастью, во время войны мне раз шесть приходилось прыгать с парашютом на оккупированную территорию, и я привык орудовать с фальшивыми документами.

— А как она вела себя во время полета?

— О, совсем как взрослый человек! — с нежной улыбкой ответил Дуг.

Тропи, чинно сидевшая на своем месте, то и дело поднимала на Дугласа горящий взгляд, полный ожидания и покорности. Дуг улыбнулся и вынул из дорожной сумки, стоящей у его ног, завернутый в засаленную бумагу сэндвич. Она следила за каждым его движением, как собака следит за обедающим хозяином в надежде получить от него лакомый кусочек. Дуг, подбросив на ладони сэндвич, как мяч, поймал его на лету, тропи взвизгнула и рассмеялась совсем по-детски, обнажив сильные острые белые зубы с внушительными клыками. Дуг протянул ей сэндвич. Она взяла его своей смуглой рукой с длинными тонкими пальцами, ногти у нее были подточены и покрыты красным лаком.

«У нее руки красивее, чем у меня»,— подумала Френсис со странным волнением. Тропи пережевывала сэндвич своими мощными челюстями, угрюмо и степенно, совсем как мисс Мерриботэм, уплетавшая пирожное с кремом.— Ее зовут Дерри, сказал Дуг, повернувшись к Френсис, и тропи, услышав свое имя, перестала жевать. «У нее взгляд, как у Ван-Гога на том портрете, где он изображен с трубкой,— подумала Френсис.— А может быть, у самого Ван-Гога в начале его безумия просто были глаза, как у тропи...» Вдруг Дуглас сказал: — Дай! — Дерри покорно протянула ему остаток сэндвича. Он передал его Френсис и, улыбнувшись Дерри, подбадривающе кивнул ей головой. Та внимательно посмотрела сначала на Дуга, потом на Френсис и, наконец, произнесла что-то вроде «bliss» или «prise», которое в общем так походило на «please» *, что Френсис, не колеблясь, протянула ей сэндвич. Дерри сразу же вонзила в него зубы, но Дуг сурово прикрикнул: — Тс, тс! — и она добавила «Zankion» ** и снова так же

* Пожалуйста *(англ.)*.

** Испорченное английское «thank you» (спасибо).

коротко, совсем по-детски рассмеялась. Но уже через минуту ее лицо вновь приняло трогательное выражение меланхолического достоинства.

— Откиньте у нее со лба вуаль,— попросила Френсис. Дуг повиновался, и сразу же исчезло сходство Дерри с мисс Мерриботэм: теперь она напоминала не то мартышку, не то портовую девку. Это двойственное впечатление, конечно, создавала доходящая до самих бровей челка. Без вуали оказалось, что лоб Дерри ненормально низкий. Сквозь пряди волос виднелись покрытые пушком уши, которые забавно двигались при жевании и были посажены слишком высоко.

— Куда это мы едем? — с удивлением спросила Френсис.

И действительно, машина шла уже не по дороге, ведущей в Лондон через Хаммерсмит, а свернула вправо, в сторону Виндзора. Дуг, улыбаясь, сжал руку Френсис.

— Королевское общество антропологов отвело нам маленький домик в Саррее. Чудесный коттедж с небольшим садиком, затерявшийся в глубине леса. По крайней мере,— добавил он с улыбкой,— таким он мне представляется.

— Кому отвели?.. Дерри и вам?

— Дерри и *нам*. Ведь завтра — если вы не возражаете — мы непременно поженимся.

— Уже завтра, Дуг!

— А почему бы и нет? Ведь мы и так достаточно долго ждали, Френсис.

Хотя джентльмен, названный Мимсом, сразу же, как только тронулась машина, скромно отвернулся и, не отрываясь, смотрел на мелькавшие за окном поля, Френсис не решилась обнять Дуга.

— Не будем терять оставшихся месяцев,— сказал он. Голос его прозвучал немного глухо и печально. Теперь уже Френсис сжала его руку, сжала тревожно, без улыбки. Она повернула к Дугу свое лицо, на котором застыло напряженно-вопросительное выражение, углы рта у нее опустились, губы дрожали.

— Потом...— прошептал он. От тряски и глухого шума мотора Дерри уснула. Она откинулась назад, голова ее склонилась, и она непринужденно прижалась щекой к плечу Мимса, которое тот предупредительно подставил. У нее были темные шелковистые веки с длинными и очень густыми ресницами. Тонкие губы приоткрылись, нескромно

обнажив выступающие вперед челюсти и мощные клыки. Из-под прядей волос выглядывало слишком высоко посаженное ухо цвета спелого абрикоса. На лице спящей застыло выражение кроткой печали и настороженной жестокости.

Однако Френсис и Дуг поженились не на следующий день, они поженились только через одиннадцать дней, когда им удалось, наконец, выбраться в Лондон.

Устроить Дерри оказалось нелегким делом. Что происходило за этим маленьким загадочным черепом? В Сиднее во время карантина, предшествовавшего искусственному оплодотворению, она, по-видимому, привыкла жить одна — вдалеке от других тропн. Как настоящий верный пес, она привязалась к Мимсу, потом еще больше — к Дугласу. Рядом с ними все ей казалось нипочем. Однако в первую же ночь в Сансет-котедже Мимс, проснувшийся от холода, обнаружил, что окно открыто и комната пуста. В конце концов Дерри нашли в саду: она забилась между тисовыми деревьями и решеткой, через которую не смогла перелезть.

Френсис терпеливо и насмешливо слушала догадки и предположения Дугласа и Мимса. Наконец, вмешавшись в разговор, она мягко заметила:

— Она просто ревнует.

— К кому? — воскликнул Дуг.

— Ко мне... Мы, женщины, понимаем друг друга,— добавила Френсис с неестественно кроткой улыбкой.

Дуглас покраснел до корней волос.

— Значит, вы меня не простили? — спросил он, когда они остались вдвоем.— Ведь я бы мог от вас все скрыть,— попытался он оправдаться совсем так, как и в своем письме.

— Мне достаточно было бы взглянуть на вас, мой бедный Дуг, когда вы произносите имя Сибилы, чтобы сразу же обо всем догадаться. Но сейчас речь идет только о Дерри. Вы думаете, она привыкнет?

— К чему?

— К моему присутствию...

— Неужели вы серьезно думаете, что она ревнует?

Однако догадки Френсис вскоре подтвердились. Не то чтоб Дерри держалась враждебно в отношении Френсис.

Напротив, оиа привязалась к ней так же, как и к обоим мужчинам. Но оиа совершенно ие выносила, чтобы Френсис и Дуглас оставались вдвоем, вие ее поля зреиия. В такие минуты оиа становилась нервной, молчаливой, бродила, ковыляя, по дому, открывала все двери. На следующую иочь, когда Френсис и Дуг ушли к себе, Мимс привязал Дерри за руку к своей руке. Но оиа всю иочь так металась иа циновке, что он ии иа минуту ие сомкиул глаз.

Решили сделать опыт, который дал положительные результаты: следующую ночь Дуг провел возле Дерри, и она спала спокойным сиом. Фреисис сменила Дугласа — Дерри спала так же хорошо. Но стоило Мимсу с веревкой на руке сиова занять свое место, и поутру он обнаружил только веревку, а Дерри исчезла. Ей удалось высвободить руку, справиться с замком и пробраться в комнату Дуга. Ее нашли спящей на коврике у его кровати.

Пришлось перепланировать весь дом. Ваиную комиату, смежиую с двумя спальнями, в одной из которых жил Мимс, в другой — Дуг (а позднее чета Темплморов), переоборудовали для Дерри. Если двери в комнату Дугласа ие запирались, Дерри спокойно засыпала с вечера. Тогда он мог запираться на задвижку, но под утро, если Дерри просыпалась первой, оиа прямо отправлялась к Дугу, как бы желая проверить, один ои там или иет. Дуглас прогонял ее, и она беспрекословио возвращалась к себе на циновку.

Но когда Френсис и Дуг поженились и Дерри обнаружила их вместе, выставить ее из их спальни оказалось иевозможным. Она улеглась иа коврике возле кровати, и никакими силами иельзя было заставить ее сдвинуться с места: было ясно, что оиа скорее умрет, чем согласится уйти отсюда. Эти сцеиы повторялись каждый вечер. И, бесспорно, Фреисис была права, убеждая Дугласа не обращать внимаиия иа это маленькое иеудобство и не закрывать дверь на ключ. Если бы Дерри заметила это, она перестала бы им доверять.

Френсис забавлялась с Дерри, как маленькая девочка с иовой куклой. Оиа сама помогала ей мыться, считая, что так оно благоразумнее: в ваииой Дерри, со своей нежной розовой грудью, несмотря иа тонкую сизую шерстку, покрывающую тело (а может быть, имеино благодаря ей), выглядела слишком женственно. Ее приходилось мыть каждый деиь, иначе от нее иачииало иеприятио пахнуть, как

от хищника в клетке. Первое время Френсис намыливала ее сама. Но Дерри слишком непосредственно реагировала на эти прикосновения: закрывала глаза, тихо постанывала, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Скоро Френсис научила ее обходиться без посторонней помощи и хохотала до слез, глядя, как Дерри с чисто жонглерской ловкостью орудует своими четырьмя руками, перебрасывая из одной в другую мыло, губку и щетку. Видя, что Френсис весело, Дерри тоже начинала смеяться.

В Лондоне Френсис накупила своей подопечной материи на платья. Вернее, на сари: в европейском костюме Дерри, с согнутой спиной и длинными руками, слишком походила на переодетую в человеческое платье обезьяну. Дерри явно нравилось одеваться. В ней даже пробудилось кокетство: если бы выбор оставили за ней, она носила бы только яркокрасные цвета. Но к украшениям она была совершенно равнодушна, и Френсис тщетно старалась заинтересовать ее безделушками. Повертев с минуту в руках бусы или браслеты, Дерри отбрасывала их в сторону. Очень трудно оказалось подобрать для нее обувь. Дерри не выносила туфель: обутая, она ковыляла, как калека; не могла она привыкнуть даже к сандалиям, которые еще больше подчеркивали, что ноги ее служат также и руками.

Однажды Френсис решила ее подкрасить. Но результат оказался самым плачевным. Помада только подчеркнула полное отсутствие губ. А щеки под румянами казались еще более дряблыми и морщинистыми. Дерри сразу стала выглядеть старше пятидесятишестилетней мисс Мерриботэм.

Присутствие Дерри и все те осложнения, которые она внесла в жизнь Френсис и Дуга, не могли, как видите, в какой-то степени не испортить их «медового месяца». Получилось так, словно в свадебное путешествие им пришлось захватить с собой сироту-племянницу, к тому же еще девицу болезненную и обидчивую. Пропала радость одиночества вдвоем, но зато удалось избежать оборотной стороны этого периода: мучительной взаимной «притирки» характеров и чувств. Но тем драгоценней казались минуты, когда, отделавшись от тирании Дерри (чаще всего это было ночью), они оставались вдвоем. Как пылко тогда они любили друг друга! В их страсти причудливо сочетались беззаботность и отчаяние. Теперь Френсис

знала, что счастье их недолговечно: обреченное счастье, отпущенное слишком скупой мерой. Наслаждаться им надо бездумно; только так можно было победить безнадежность. Теперь Френсис знала во всех подробностях планы Дугласа. Сначала она воскликнула: «Ты никогда не осмелишься на такой шаг!» Но он спокойно ответил: «Ежедневно тысячи людей топят котят и щенков. Вряд ли кому-нибудь это доставляет удовольствие. Однако все это делают...» — «Но ведь то котята и щенки!» — «Ну н что ж?» — спросил Дуглас.

Френсис долго не могла решить, согласна она или нет с мужем. Она никогда больше не говорила Дугласу о своих сомнениях. Для него это вопрос решенный, к чему терзать его понапрасну. Но затем, по мере того как она все яснее понимала, какие побуждения руководят Дугом и какие последствия может иметь его поступок, она постепенно начала соглашаться с ним, сочувствовать его планам, потом одобрила их и, наконец, приняла. Нет, не просто приняла, а стала поддерживать со всей страстностью ума и сердца — сердца истерзанного, полного тревоги, но готового вынести все будущие страдания.

Тем временем все члены экспедиции — Крепс, отец Диллиген и Гримы — возвратились на пароходе. Они привезли с собой двадцать самцов и оплодотворенных в разное время самок. На всю эту партию пришлось заключить особое соглашение с компанией фермеров. В одном из пунктов соглашения значилось, что потомство вывезенных в Англию тропи может быть востребовано компанией в любое время. По совету Дугласа это условие было принято, оно как нельзя лучше отвечало его планам.

Грим потребовал и сумел добиться от Королевского общества антропологов, чтобы приезд тропи в Лондон оставался в тайне и чтобы ему была предоставлена честь, на которую он имел полное право: первому сделать сообщение о Paranthropus Erectus в научной печати или в журналах. К счастью, излишняя развязность Джулиуса Дрекслера вызвала единодушное возмущение всех членов Королевского общества, что оказалось весьма на руку Гримам.

Таким образом, когда наступили сроки родов Дерри и других самок, привезенных в Лондон, о них еще ничего не было известно ни среди широкой публики, ни в деловых кругах, ни среди ученых. Поэтому у Дугласа были полностью развязаны руки, а этого он только и хотел.

Доктор Вильямс прилетел на самолете из Сиднея, чтобы присутствовать при родах. Самки разрешались от бремени в Кенсингтоне (с интервалами в несколько дней), в аудиториях музея, специально переоборудованных для этого случая в клинику. Исключение было сделано только для Дерри, у которой Вилли принимал младенца, как и предполагалось, в Сансет-котедже.

По телефону из Лондона были вызваны Грим и его жена. Месяца за два до этого Сибила, зная наверняка, что застанет дома только одну Френсис, без всякого предупреждения приехала к ним. Когда они расстались, Френсис с радостью признала себя побежденной. И впрямь, думала она, все условности, весь строй наших чувств рушится перед такой женщиной. Непосредственность, обаяние, жизненная сила и то искреннее расположение, с каким Сибила отнеслась к Френсис, сразу же как потоком смыли все уже порядком увядшие злые чувства. Напрасно Френсис заставляла себя думать: «Эти руки обнимали Дугласа, ласкали его. Эти губы его целовали». Но она именно заставляла себя представлять и не могла представить.

Напротив, она неожиданно ловила себя на том, что Сибила вызывает в ней необъяснимое, почти родственное чувство... А главное, было так очевидно, так ясно, что она не предъявляет и никогда не предъявляла никаких прав на Дуга; поэтому Френсис могла чувствовать себя в ее обществе куда более спокойно, чем, думалось ей, в обществе какой-нибудь другой менее откровенной женщины.

В дальнейшем она не всегда испытывала к Сибиле столь благородные чувства. Случалось, что образ непристойной Сибилы «естественной, как раковина», проскальзывал в какой-нибудь улыбке, жесте или слове. Но это длилось не больше минуты. Поток вновь уносил с собой все грязное, оставляя на берегах лишь светлый песок. Подчас Френсис раздражало также непринужденное поведение Дугласа в присутствии Сибилы, свидетельствующее о его слишком короткой памяти. Дуг действительно вел себя весьма непринужденно. Он первый, как это часто бывает, полностью и безоговорочно отпустил себе свои грехи.

* * *

В тайниках сердца Френсис страстно надеялась, что рождение детеныша тропи, слишком похожего на человека, поколеблет решимость Дугласа.

И вот новорожденный спал перед ними. С первого взгляда он ничем не отличался от всех прочих новорожденных: так же гримасничал, был такой же красиолицый и сморщенный. Но все его красновато-оранжевое тельце было покрыто тонким и светлым подшерстком, «будто свиной щетинкой», по словам Вилли. У него было четыре чересчур длинные ручки, слишком высоко посаженные оттопыренные уши и голова, как бы сросшаяся с плечами. Грим открыл ему рот и сказал, что челюсть изгибается в виде подковы, более широкой, чем у настоящего детеныша тропи; возможно, надбровная дуга развита не так сильно; череп... впрочем, еще рано судить о черепе. В общем ничего интересного.

— Вы уверены в этом? — спросил Дуг.

— Да,— ответил Грим.— Это тропи.

Френсис молчала. Вдруг она почувствовала, как две холодные руки обняли ее сзади. Это была Сибила. Она увела Френсис в соседнюю комнату, и они долго просидели там вдвоем. Френсис все время судорожно сжимала руки своей подруги. Обе молчали. Но этот проведенный в молчании час окончательно скрепил их дружбу.

Френсис быстро справилась с минутной слабостью. На следующее утро она сама одела новорожденного — спеленала его, завернула в одеяло, прикрыла чепчиком его крошечный, покрытый пушком череп и положила на руки Дугласа, словно это был их собственный ребенок.

Спустя час Дуглас звонил у двери церковного дома в Гилдфорде. Пастор открыл не сразу.

— Прошла моя пора вставать до света,— извинился он.— Ужасные головокружения. Мои печень и желудок не ладят между собой. Полная анархия в стареющем государстве... Мне так же трудно убедить их жить в согласии, как и моих прихожан...— Прелестное дитя,— сказал он, рассеянно откидывая край одеяльца.— Вы, я полагаю, хотите его окрестить?

— Да, сэр.

— Мы сейчас пройдем в церковь. Крестные, должно быть, уже там?

— Нет,— ответил Дуглас.— Я один.

— Но...— начал пастор, с удивлением взглянув на Дуга.

— Меня принуждают к этому чрезвычайные обстоятельства, сэр.— Пастор отошел от двери.

— А!..— произнес он, приближаясь к Дугу.— Понимаю, вы предложили свои услуги... Я слушаю вас, сын мой.

— Я только что женился, сэр. А это мой внебрачный ребенок.

Лицо пастора с чисто профессиональным искусством одновременно выразило строгость, понимание и снисходительность.

— Мне хотелось бы, чтобы эта церемония осталась в тайне,— продолжал Дуг.

Пастор закрыл глаза и кивнул головой.

— Говорят, у вас при церкви живет старый садовник с женой?.. Нельзя ли, сэр, попросить их...

Пастор продолжал стоять с закрытыми глазами.

— Очень хотелось, чтобы об этом знали только я и моя жена... Она с исключительным благородством отнеслась к рождению этого ребенка. И мой долг оградить ее от страданий, так сказать, от излишней гласности...

— Хорошо, мы сделаем все, как вы желаете,— ответил пастор.— Прошу вас, подождите минутку.

Вскоре он вернулся в сопровождении престарелой четы — садовника и его супруги. Все вместе они прошли в церковь. Старуха держала ребенка над купелью. Ей очень хотелось сказать Дугу, чтобы доставить ему удовольствие: «Вылитый папочка!», но, хотя на своем веку она перевидала немало безобразных младенцев, такого, право...

Его записали под именем Джеральд-Ральф.

— Рожденный от?..

— Дугласа Темплмора.

— И?..

— У матери нет фамилии. Она туземка из Новой Гвинеи. Ее зовут Дерри.

«Так вот почему он такой...» — подумала старуха.

Склонившись над книгой записей, пастор долго вертел перо в руках; он словно онемел, не зная, на что решиться. На сей раз он не сумел скрыть сурового осуждения, отразившегося на его лице. Наконец он записал в книгу, повторяя вслух каждое слово:

— ...и от женщины... туземки...

Потом попросил расписаться Дугласа, крестного и крестную. И молча закрыл книгу. Дуглас протянул ему пачку банковых билетов: — На ваши благотворительные дела.— Пастор все так же молча и степенно наклонил голову.

— Теперь мне придется,— начал Дуг,— зарегистрировать его рождение в мэрии. Свидетелей у меня нет. Нельзя ли попросить вас еще...

Старики взглянули на пастора. Видимо, его ответный взгляд не выражал прямого запрещения.— Что ж, мы согласны...— сказала женщина, и все втроем они вышли. У старухи на языке вертелись десятки вопросов, но она не решалась задать их вслух. Она по-прежнему несла на руках спящего ребенка. И старалась представить, какое лицо будет у этого мальчугана, когда он подрастет. Она уже видела его в public school *, видела, как издевается над ним детвора. «Бедный малыш, придется ему горя хлебнуть...»

В мэрии дело тоже не обошлось без осложнений. Клерку, по его словам, никогда еще не приходилось записывать ребенка, «рожденного от неизвестной матери»! Он упрямо твердил:

— Английским законом это не предусмотрено...

Дуг терпеливо разъяснял:

— Но ведь ребенок существует? Вот он, перед вами...

— Да...

— Если бы у него не было законного отца, ведь вы бы его все-таки записали: рождение любого ребенка должно быть зарегистрировано.

— Верно. Но...

— Эти люди подтвердят, что он родился у меня в доме, в Сансет-котедже, что он крещен и носит мою фамилию.

— Но мать-то, черт возьми! Она же была там, когда его рожала! Должна же она существовать, должна же она быть известна, имя-то хоть должно у нее быть!

— Я уже сказал вам: зовут ее Дерри.

— Этого недостаточно для записи гражданского состояния!

— Но нет у нее другого. Я же вам говорю: она туземка.

Из этого изнуряющего состязания на выносливость Дугласу удалось выйти победителем. Клерк сдался; в конце концов он записал: «Мать — туземка, известная под именем Дерри».

Дуг поочередно пожал руки всем присутствующим, щедро расплатился со «свидетелями», взял ребенка и направился в Сансет-котедж.

* Закрытая средняя школа для мальчиков (*англ.*).

До самого вечера Дуглас и Френсис сидели у колыбели спящего ребенка и, не отрываясь, смотрели на него. Чтобы придать себе мужества, молодая женщина старалась отыскать на маленьком красном личике признаки его животного происхождения. И, конечно, их было немало. Не говоря уже о слишком высоко посаженных ушах, у него был очень покатый лоб с зачаточным костным гребнем, выступавшим под кожей, а маленький выдающийся вперед рот придавал его лицу сходство со звериной мордочкой. Чрезмерно развитая нижняя челюсть со срезанным подбородком образовывала вместе с челюстной костью мощный выступ, шеи у него почти не было, и поэтому его плечи, казалось, почти срослись с основанием черепа. И хотя Френсис старалась сосредоточить все свое внимание на этих признаках, она никак не могла отделаться от ощущения, что перед ней — ребенок. Дважды он просыпался, кричал, плакал: маленький язычок дрожал в его широко открытом ротике. Он двигал своими крошечными ручками с розовыми ногтями. И Френсис, чувствуя, как мучительно сжимается у нее сердце, дала ему бутылочку с молоком. Ребенок жадно засосал и вскоре уснул.

В сумерках Дуг и Френсис наспех пообедали. Потом они долго бродили по лесной тропинке, держась за руки и крепко переплетя пальцы. Оба молчали. Время от времени Френсис касалась щекой лица Дуга или целовала ему руку. Когда окончательно стемнело, они решили вернуться домой.

Прежде чем подняться по лестнице, Френсис крепко обняла Дуга, и они простояли так несколько минут. Потом Френсис прошла к себе; она обещала Дугу лечь спать, хотя ей было противно думать о сне. Пришлось выпить снотворное.

Дуглас сел за письменный стол и начал писать. Он постарался как можно полнее изложить события последних месяцев. Время от времени он откладывал перо в сторону и выходил выкурить сигарету в сад, где этой летней ночью как-то особенно громко шелестела листва, или садился с трубкой во рту в глубокое кожаное кресло, стоявшее в углу, а затем снова принимался за работу.

К четырем часам он кончил писать. Он распахнул окно, небо уже начинало бледнеть в первых лучах восходящего солнца. Ребенок проснулся и заплакал. Дуг согрел рожок. Ребенок попил молока и снова уснул. Дуг опять подошел к окну. Он смотрел на розовато-лиловое небо, которое по-

степенно становнлось алым, затем закрыл окно, так и ие дождавшись восхода солнца. Снял телефонную трубку и вызвал доктора Фиггинса нз Гилдфорда. Дуг извниился, что беспокоит его в столь раннний час, ио речь идет, добавил он, о смертельиом случае.

Шприц и сииий флакоичнк с черио-красной этикеткой лежали в ящике стола. Он медлеиио наполнил шприц. Пальцы его ие дрожалн.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Шумный успех тропи в лондонском зоопарке. Дело Темплмора. «Друзья животных». «Ассоциация матерей-христианок Киддерминстера». Можно ли лишать таинства крещения младенцев тропи? Молчание Ватикана. Смятение англиканской церкви. «Они мне набросят петлю на шею!» Отличительный признак.

К сентябрю, когда дело должно было слушаться в уголовном суде, Дуглас успел уже одержать первую победу — победу над общественным мнением. Нельзя сказать, чтобы все симпатии были на его стороне, далеко не все. Но газеты изо дня в день трубили о его процессе, о нем велись бесконечные споры и в Тутинге, и в Челси, и в Оксфорде, и в Ньюкасле; Париж, и тот начал поговаривать о нем, даже Нью-Йорк был заинтригован. Теперь уже нельзя было замять дело или обойти его молчанием.

Все началось с того, что «Дейли пикчер» поместила на своих страницах портреты Дерри и других самок тропи с их детенышами. А всем известно, как лондонцы вообще любят животных. (Когда в зоопарке родился белый медвежонок Брюмас, то там за несколько недель перебывало больше миллиона посетителей. «Видели ли вы Брюмаса?») Каждому не терпелось составить свое собственное мнение о тропи. Однако Ванкрайзен оказался человеком предусмотрительным, к тому же у него повсюду были связи: как только тропи прибыли в Лондон, министерство здравоохранения установило строгий карантин, запретив посещение зоопарка. Но и британские суконные фабрики пользовались не меньшим влиянием. Не успела «Дейли пикчер» поместить фотографии тропи, как со всех сторон — на что и рассчитывали — посыпались десятки тысяч писем с выражением протеста; и правительство, к которому в палате общин с весьма едким запросом обратился один из старых лейбористов, отменило запрещение. Наплыв посетителей был столь велик, что пришлось по воскресеньям, как и в период славы Брюмаса, чуть ли не в десять раз увеличить число автобусов. Вскоре успех тропи во много раз превзошел успех белого медвежонка.

Спорили буквально все: тропи — люди или обезьяны? Кто же, в конце концов, Дуг: преступник или герой? Случалось, что, не придя к соглашению, старые, никогда ранее не ссорившиеся подруги расставались навсегда, разругавшись на прощание, как рыночные торговки; расстраивались свадьбы.

За несколько дней до начала судебного разбирательства «Ивнинг трибюн» в нескольких словах подвела итог этих жарких споров:

«Что ждет Дугласа Темплмора: орден или виселица?»

В статье, помещенной под таким заголовком, описывалась драка, которой в Кингсвэй-холле окончился митинг «Друзей животных» (союз этот образовался из левого крыла расколовшегося «Общества покровительства животным» и обвинял последнее в чрезмерном попустительстве и нерадении).

Как только (говорилось далее в статье) было покончено с текущими делами, с места поднялась председательница союза.

— Через несколько недель,— произнесла она взволнованным голосом,— начнется суд над героем. Мы с вами бессильны повлиять на решение присяжных. Более того, мы даже, как вам известно, не имеем права открыто высказать свое мнение, ибо нас непременно обвинят в оскорблении суда. Но кто может помешать нам уже сейчас начать добиваться для Дугласа Темплмора почетного знака отличия? И разве не окажет в дальнейшем это обстоятельство влияния на приговор? Кто согласен со мной?

Но тут со своего места поднялась невысокая дама. Ей не совсем понятно, заявила она, какую, в сущности, услугу обществу оказал этот человек? Разве он не убил своего собственного ребенка?

— Он,— возразила председательница,— принес это маленькое существо в жертву его же братьям, которых гнусная компания фермеров Такуры собиралась обречь на ужасное рабство, на жизнь, полную мучений. Кто бы из нас не убил свою собственную кошку или верную собаку, лишь бы не отдавать бедное животное в руки мучителей? Разве можно забыть о той страшной опасности, которая угрожала бы этим милым животным — увы, мы знаем, что она и сейчас угрожает им,— если бы Дуг Темплмор, совершив свой по-

нстнне героический поступок, ие пожертвовал собой радн иих.

Слово взял высокий худой мужчииа с пушистымн светлыми усами.

— Госпожа председательннца, говоря о тропн,— начал ои,— иазывает их «эти животиые». Во-первых, называть их животиыми — значит играть иа руку тем, кому не терпится превратить их в рабочий скот. Во-вторых, если оин животные, то с какой статн наше общество должно вмешиваться в это дело? Ведь ннкто не собирается нх истязать. Если только, коиечно, госпожа председательиица ие считает истязаиием животных то, что их заставляют выполнять работу, которая обычио выполияется людьми. И иакоиец, в-третьнх, я сам тоже видел этих тропи. Видел, как оии обтесывают камии, подбирают части машии, видел, как онн забавляются. И я имею честь заявнть госпоже председательиице, что оии такие же люди, как оиа и я. И никакая там форма пальцев иог ие заставит меия призиать обратиое. Что же касается Темплмора, то я прямо заявляю: ои убил своего сыиа. Вот и все. Даже если бы у него роднлся сын от кобылы или от козы, все равно это был бы его ребеиок, черт возьми! И я утверждаю, что, если каждому будет дозволено топить своих детей, как котят, Англия погнбнет. Вот почему личио я голосую за то, чтобы его повесили!

Закоичив свою речь, ои собирался уже сесть на место. Но не успел. Его окружнло с полдюжины казалось бы вполне миролюбивых дам, которые подступали к оратору с явиым иамереиием расцарапать ему физиоиомню.— Значит, эти маленькие грациозные, чистые и ласковые создаиия — люди? Значит, эти милые животиые — люди? Ну-ка, пусть он только осмелится повторнть это еще раз!

Другие же в свою очередь принялись доказывать, что имеиио такие вот раздражительные дамы со своей любовью к тропи иаверияка погубят их, потому что, сколько нн тверди...

Им не дали даже закончнть. Раздражительные дамы получнли подкреплеиие. В одно мгновение все присутствующне разделились иа два лагеря: одни утверждали, что тропи — людн, другие, что они — животиые. Напрасно председательница, отчаявшись навести порядок, звоннла в колокольчик. Пришлось срочно вызвать полнцню, дабы очнстить зал.

Большое впечатление произвело также помещенное в «Таймс» открытое письмо Ассоциации матерей-христианок Киддерминстера.

«Сэр — говорилось в нем,— мы просим разрешить нам со страниц вашей газеты обратиться к Его Святейшеству Папе и Его Милости Архиепископу Кентерберийскому...»

Далее по существу ставился вопрос, уже давно терзавший душу отца Диллигена: можно ли и должно ли лишать таинства крещения пятерых маленьких тропи, родившихся в зоопарке? Одна мысль, что над тропи не был совершен даже обряд малого крещения, «мучила их совесть матерей и христианок». Мысль эта «гнала сон от их глаз». А посему они умоляли папу и архиепископа сказать свое веское слово, решить, наконец, надо ли принять эти маленькие существа в общину христиан.

Ватикан по-прежнему хранил упорное молчание. Архиепископ же в письме, свидетельствующем, по общему мнению, о его замешательстве, ответил, что, «действительно, перед всеми христианами встает весьма важный вопрос, который не может не волновать и не приводить в смущение наши души; однако, по имеющимся у него сведениям, вопрос о происхождении тропи явится решающим фактором на уже начавшемся процессе, и, следовательно, пока дело находится еще sub judice *, было бы неуместным с его стороны высказывать свое мнение».

Итак, процесс, судя по всему вышесказанному, должен был начаться в достаточно накаленной атмосфере. Но если поначалу Дугласа радовало, что все население Британских островов так живо интересуется судьбой тропи, то теперь он начал опасаться, как бы океан бушующих страстей не поглотил основного вопроса.

Ежедневно на его имя в Вэйл-оф-Хелс приходили десятки писем; Френсис приносила их в тюрьму Вёрмвуд Скрабс. В одних письмах, и таких было большинство, его старались ободрить, в других оскорбляли, но и поклонники и хулители выводили его из себя.

— Эти идиоты на верном пути,— восклицал он,— но,

* Под следствием (*лат.*).

боже мой, с помощью каких нелепых доводов приходят они к истине!

— Почему же нелепых? — поинтересовалась как-то Сибила, которая иногда навещала Дуга в тюрьме вместе с Френсис.— Мне кажется наоборот...

— Они перепутали все на свете! — нетерпеливо ответил Дуг.— Можно подумать, что я убил это маленькое существо лишь для того, чтобы доставить удовольствие «Друзьям животных»! Есть и такие, которые видят во мне только несчастную жертву. Знаете, что пишет мне один из этих кретинов? «Вы — новый Дрейфус!» Неужели я должен дать себя повесить, чтобы они, наконец, поняли, о чем идет речь?

Впрочем, в скором времени все, и даже Сибила, стали действовать ему на нервы.

— Что я ему сделала? — допытывалась она у Френсис.— Любое мое слово приводит его в бешенство.

— Он заслуживает снисхождения,— отвечала Френсис.— Не забывайте, что он рискует головой.

— Я и не забываю,— оправдывалась Сибила.— Но хоть вы-то не сердитесь на меня! — умоляюще проговорила она, заметив, что Френсис вдруг побледнела.— Объясните мне лучше, какую глупость я опять сказала.

— Я не сержусь, мне просто страшно,— призналась Френсис.— Страшно за него. Да и сам он, в конце концов, тоже боится. Если он выходит из себя, то лишь потому, что порой и вы рассуждаете так же, как те люди, которые, по его словам, накинут ему петлю на шею.

— Не понимаю,— прошептала Сибила.

— Они преуменьшают значение процесса. Большинство людей — и вы, Сибила, в том числе, признаетесь вы в этом или нет,— по моему глубокому убеждению, ждет лишь сохранения весьма неопределенного status quo *. Конечно, им хотелось, чтобы тропи оставили в покое, а Дуга бы оправдали. Обо всем прочем они вообще стараются не думать.

— О чем прочем? О том, чтобы решить вопрос, люди тропи или нет?

— Да. Видите ли, этот вопрос волнует всех. И вас тоже, что бы вы там ни говорили.

— Меня это совершенно не волнует. Я по-прежнему считаю, что ставить вопрос в такой плоскости ненаучно.

— В конечном счете, это одно и то же; и если только Дуг

* Существующее положение (*лат.*).

почувствует, что заседатели придерживаются той же точки зрения, что все эти люди, и вы в том числе, пытаются вывернуться, не разобравшись в существе вопроса, он сам, рискуя головой, сделает все возможное, лишь бы доказать свою вину. И судьям придется, поставив на карту его жизнь, сказать свое последнее слово, даже если оно будет стоить Дугласу жизни.

— Это же просто глупо!

— И все-таки он поступит именно так, Сибила. И я не могу упрекать его, хотя при одной только мысли о подобном исходе у меня сердце разрывается. Но и он и я, мы недолюбливаем тех нерешительных игроков, которые сперва храбро ставят на карту все свое состояние и тут же, испугавшись, стараются взять свою ставку обратно... Неужели вы думаете, что он сможет примириться с убийством маленького тропи, если это ни к чему не приведет? И после всего, что произошло, спокойно умыть руки и уйти, поблагодарив суд за его снисходительность? Да для него это было бы самым страшным поражением.

— Небезызвестный Дон-Кихот также не желал забирать обратно своей ставки. Тропи очень милы, не спорю, но все они, вместе взятые, уверяю вас, не стоят жизни такого человека, как Дуг.

Френсис пожала плечами и тихо проговорила:

— Сейчас речь идет о вещах гораздо более важных!

— Более важных, чем?..

— Чем судьба тропи, Сибила. Странно, что вы никак не можете это понять.

— Но чего же, в таком случае, он ждет от процесса?

— Откровенно говоря, определить это пока еще трудно. Быть может, и впрямь все это ни к чему не приведет. Нельзя сказать заранее.

— В таком случае это безумие!

— Возможно. А возможно, и наоборот: последствия будут самые неожиданные. Разве можно сказать наперед, как развернутся события. Вы помните капитана «Тайфуна»?

— Да... но... почему вы о нем вспомнили?

— Потому, что Дуглас на него похож... Нужно ли обходить стороной циклон? — думал капитан. Пожалуй, так оно благоразумнее и для корабля и для собственной шкуры. Но тут он вспоминает о судовладельцах. «Да, этот рейс обошелся нам в копеечку. Ну и сожгли же вы угля!» — скажут они. «Я сделал крюк в две тысячи миль, чтобы избежать

бури»,— отвечу я. «Черт возьми! — возразят они мне.— Должно быть, действительно поднялся страшный ураган». «Страшный или нет, этого, видите ли, я не знаю, раз я обошел его стороной». Вот почему он пошел прямо навстречу ветру...

— И Дуг поступит так же. Нет,— вздохнула Сибила,— никогда я не смогу понять таких вещей... Ну что хорошего может выйти из всего этого?

— Не знаю... Может быть, всего лишь... еще одна «хорошая новелла». Послушайте, Сибила, ведь вы сами... ведь вы же не верите ни в бога, ни в черта, я знаю... Но все-таки... Такое слово, как душа, оно вам на самом деле ничего не говорит?

— Нет, говорит,— ответила Сибила.— Говорит, как и всем. При одном условии: пусть мне сперва объяснят, что́ она собой представляет. Или, вернее, каковы ее признаки.

— Как раз то же утверждает Дуглас!

— Что же удивительного,— улыбнулась Сибила,— я сама подсказала ему такую мысль.

— Ну, а каковы эти признаки, могли бы вы ответить на вопрос, Сибила?

— Если бы на него можно было ответить, все сразу стало бы ясным.

— А вам не кажется странным, что никто не может ответить на этот вопрос? — оживившись, спросила Френсис.— Подумайте только! Никто не оспаривает, что у любой негритянки с плоскогорья, хотя по своему интеллектуальному развитию она в сто раз ближе к шимпанзе, нежели к Эйнштейну, есть все-таки с Эйнштейном нечто общее, что отличает их обоих от шимпанзе; назовите это душой или еще как-нибудь. Но вот по какому *признаку*, говоря вашими же словами, Сибила, мы узнаем, что это так? Трудно даже поверить, что люди столько времени спорят об этом и до сих пор не сумели найти ответа. До сих пор не сумели определить, что это за отличительный признак. Разве нет?

— Да, действительно, возможно...

— Вот вы, Сибила, гордитесь тем, что для вас «не существует моральных принципов». А потому ли их не существует для вас, что мы до сих пор не знаем, каков этот отличительный признак? И если бы мы установили этот признак, не повлиял ли он, хотя бы отчасти, на ваши поступки?

Сибила задумалась.

— Возможно...— повторила она.— Вы коснулись моего самого больного места, Френсис. Обычно мне удается довольно удачно скрывать свою слабость.— Голос ее неузнаваемо изменился.— Да, для меня «не существует моральных принципов...», но я этим не «горжусь», уверяю вас... Представьте, я почти всегда знаю, что думают обо мне люди... Но вы не знаете, конечно, что порой это причиняет мне страдания. Конечно, не то, что они обо мне думают! А то, что все мои поступки полностью зависят только от меня одной, от собственных моих суждений... Иногда меня охватывает... такой ужас, что начинает кружиться голова... Вы удивлены, Френсис? Я казалась вам не столь уязвимой? Лучше «забронированной»? Все на свете уязвимы; броня — лишь видимость. Да, Френсис, на небесах никого нет, мы это знаем, и все-таки нам трудно привыкнуть к такой мысли. Привыкнуть к тому, что поступки наши не имеют никакого смысла... Что и хорошие и плохие могут случайно породить добро или зло... А бог всегда, всегда молчит... Мы определяем понятие добра и зла, основываясь лишь на своих собственных, непостоянных, как зыбучие пески, представлениях... И никто не приходит нам на помощь...— Она вздохнула.— Не так уж все это весело.

— Ну, а если,— тихо спросила Френсис,— ну, а если Дуг заставит наконец ответить... найти, раскрыть в конце концов этот *признак*, этот отличительный признак, которым должны обладать тропи, дабы мы смогли принять их в качестве равноправных членов в франкмасонское общество,— я имею в виду сообщество людей, которое требует наличия души у своих членов... Разве не на этом признаке основывалось бы все наше поведение, поведение людей? Не на зыбучем песке наших представлений, как вы говорите, не на призрачном расплывчатом определении добра и зла, а на незыблемом, как гранит, определении того, что есть человек... И даже разве вам, Сибила, не принесло бы это облегчение и спокойствие, разве не появилась бы у вас путеводная звезда?

— Что есть человек...— прошептала Сибила.

— Хотим мы того или нет,— в раздумье промолвила вполголоса Френсис.

— Что есть человек...— снова проговорила Сибила.

— Независимо от добра и зла,— добавила Френсис.

— Что есть человек...— еще раз произнесла Сибила.— А это действительно можно было бы узнать? — спросила

она, словно школьница, и в голосе ее прозвучало наивное и трогательное волнение.— И вы думаете, что это можно будет сделать? — повторила она через минуту все тем же тоном.

— Если это возможно для тропи, Сибила, то это так же возможно и для нас,— ответила Френсис.— Но для этого не надо... не надо считать Дуга Дон-Кихотом. Надо верить ему безоговорочно,— прошептала она с верой и болью.— Даже если всем нам суждено умереть, так и не увидев плодов его самопожертвования... В конце концов,— заключила она с силой,— это ведь не в первый раз! Не в первый раз люди не внемлют шелесту дубов Додоны *... А потом, в один прекрасный день, их еле уловимый шепот превращается в песнь надежды.

* Город в Эпире, где, по преданию, находился древнейший из греческих оракулов — священный дуб Зевса.— *Прим. ред.*

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сознание профессионального долга у доктора Фиггинса. Сведения о метизации, гибридизации и даже о телегонии. Осторожность доктора Балброу. Утверждения профессора Наача: «покажите мне его астрагал, и я скажу, человек ли вто». Противоположное мнение профессора Итонса. Спор о роли прямостояния. «Мысль создала руку человека». Странные выводы профессора Итонса.

— Доктор Фиггинс!

Это был первый свидетель, вызванный обвинением. Произнеся слова присяги, он подошел к месту, отведенному для свидетелей. Мистер Дрейпер, председатель суда, незаметно вытер лоб, под белым париком он буквально обливался потом. В этом году конец сентября выдался жаркий, душный, грозовой. Зал был так переполнен, что, казалось, стены его не выдержат напора публики.

Королевский прокурор, королевский адвокат, член парламента сэр К. В. Минчет открыл огонь.

— Мы просим свидетеля,— начал он,— отвечать лишь на наши вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Как нам известно, седьмого июня в пять часов утра вас вызвали по телефону с Сансет-котедж, куда вы и отправились. Констатировали ли вы там смерть новорожденного младенца мужского пола?

— Да.

— Вызвали ли вы в свою очередь полицию, дабы и она также констатировала смерть?

— Да.

— Последовала ли смерть от инъекции пяти сантиграммов стрихнина — дозы, смертельной даже для крупного животного?

— Да.

— Не заявил ли вам обвиняемый, что в то утро он сам сознательно сделал эту инъекцию?

— Да.

— Смогли ли вы сами установить, что данное заявление обоснованно?

— Да. Правильность его подтвердило также вскрытие, произведенное в моем присутствии судебным врачом.

— Нет ли у вас каких-либо оснований предполагать, что смерть могла бы произойти и при других обстоятельствах?

— Нет. При других обстоятельствах она не могла бы произойти.

— Ознакомились ли вы также с заявлением сэра Эдуарда К. Вильямса из Королевского колледжа хирургии, свидетельствующего о том, что обвиняемый, несомненно, является отцом жертвы?

— Да.

— Имеются ли у вас лично какие-либо основания ставить под сомнение авторитет самого сэра Эдуарда и не доверять сделанному им заявлению?

— Нет.

— Имеются ли у вас какие-либо основания сомневаться в том, что обвиняемый является отцом жертвы и виновником его смерти?

— Нет.

Прокурор с удовлетворенным видом сел на свое место.

Поднялся защитник, королевский адвокат мистер Б. К. Джеймсон.

— Доктор Фиггинс, внимательно ли вы осмотрели труп младенца? Не вы ли сами сказали при осмотре: «Это же не ребенок, это обезьянка?»

— Да.

— Придерживаетесь ли вы по-прежнему этого мнения?

— Да.

— Какие у вас на это имеются основания?

— Некоторые особенности строения его тела, один из которых сразу бросаются в глаза, другие же я обнаружил во время вскрытия.

— Какие именно?

— Диспропорция частей тела; строение ноги, имеющее очевидное сходство с нижними конечностями обезьяны, поскольку большой палец стопы отделен от остальных глубокой выемкой; форма позвоночного столба, у которого полностью или почти полностью отсутствует поясничный изгиб, а также некоторые другие особенности лицевого угла и строения черепа.

— Сообщили ли вы свои замечания судебному врачу?

— Да.

— Подтвердил ли судебный врач правильность ваших слов?

— Да.

— Следовательно, вы считаете, что обвиняемый убил не человеческое существо, а звереныша?

— Да.

Адвокат поклонился и сел на место. Поднялся прокурор.

— Не говорится ли в заключении, данном судебным врачом, показания которого мы выслушаем позднее, что жертвой преступления является ребенок?

— Да, говорится.

— Если бы судебный врач придерживался того же мнения, что и вы, мог бы он сделать подобное заключение?

Этот вопрос был отклонен защитой.

Прокурор продолжал:

— Можете ли вы объяснить, каким образом, считая, что жертва не является человеческим существом, вы смогли составить свидетельство о смерти ребенка по имени Джеральд-Ральф Темплмор?

— Как биолог я могу считать, что жертва по ряду характерных признаков ближе к обезьяне, нежели к человеку. Это мое личное мнение, но как врач я обязан был составить акт о смерти, поскольку существует совершенно официальный документ о рождении и поскольку я лично констатировал смерть.

— Признаете ли вы, таким образом, что все имеющиеся у вас сомнения относятся только к анатомическому строению жертвы, а не к ее гражданскому состоянию?

— Да, это так.

— Другими словами, вы признаете, что жертва, с точки зрения закона, является ребенком обвиняемого?

— Да.

Прокурор сел. Снова выступил представитель защиты.

— Доктор Фиггинс, считаете ли вы, что в данном случае закон должен восторжествовать над зоологией?

Прокурор отклонил вопрос, как побуждающий свидетеля высказать мнение, могущее повлиять на решение суда.

— В таком случае поставим вопрос несколько иначе,— сказал адвокат.— Доктор Фиггинс, если бы обвиняемый вызвал вас не для того, чтобы констатировать смерть жертвы, а для того, чтобы принять роды, согласились бы вы сообщить об этом рождении в мэрию?

— Нет.

— Даже если бы обвиняемый настаивал на этом?

— Все равно нет.

— Значит, если бы это зависело от вас, вы бы не признали за жертвой гражданских прав?

— Конечно.

— Подобно тому, как вы не признали бы подобного права за собакой или кошкой?

— Да.

— Кстати, вы, кажется, лишь после известных колебаний составили свидетельство о смерти? Не понудила ли вас к этому настойчивость обвиняемого? Не сам ли обвиняемый при помощи веских доказательств убедил вас в том, что жертва официально является субъектом гражданского права?

— Да, это так.

Прокурор поднялся было с места, но председатель движением руки остановил его и начал:

— Суд, дабы восполнить пробелы, имеющиеся в его познаниях по зоологии, желал бы получить от вас, доктор Фиггинс, кое-какие сведения, если только вы, конечно, можете их дать: очевидно, жертва является плодом скрещивания. Для того чтобы убитого, как вы полагаете, можно было назвать обезьяной, необходимо, не правда ли, чтобы хоть один из родителей был обезьяной. Но если нам не изменяет память, одним из критериев определения вида служит то обстоятельство, что два индивидуума разных видов не могут иметь потомства?

Доктор Фиггинс кашлянул и ответил:

— Это, конечно, выходит за пределы медицины... Однако, милорд, возможно, я смогу быть полезным... Сельский врач всегда в какой-то степени ветеринар, он связан со скотоводами, интересуется их опытами. Итак, милорд, скрещивание может дать вполне положительные результаты даже в том случае, если животные относятся к близким между собой породам, видам или — в отдельных случаях — родам. Продукт скрещивания у близких между собой пород называется метисом, у близких между собой видов и родов — гибридом. Естественно, что гибридизация удается гораздо реже, чем метизация.

— В интересующем нас случае мы, вероятно, имеем дело не с метизацией, а с гибридизацией?

— Не берусь этого утверждать, поскольку не знаю, к какому виду относится самка Paranthropus'а.

— Простите,— воскликнул председатель,— я вас не понимаю! Отцом ребенка был человек. Каким же образом ребенок мог оказаться обезьяной, если и мать принадлежит к человеческому виду?

— Это вполне возможно, милорд. Даже если в конечном счете самку Paranthropus'а следует отнести к виду человека (в чем я лично весьма сомневаюсь), то, во всяком случае, она принадлежит к племени, слишком отличному от современного европейца. А еще Дарвин заметил, что, например, потомство, полученное от спаривания двух домашних, но далеких друг от друга пород уток, обычно похоже на дикую утку. Объясняется это тем, что у метисов развиваются главным образом черты, присущие обоим родителям; а совершенно очевидно, что общие эти черты имеются лишь у их общего предка, то есть у дикого животного. В данном случае ребенок мог объединить в себе обезьяньи черты общего предка Paranthropus'а и человека, другими словами, черты какого-то общего древнейшего примата.

— И таким образом больше, чем его родители, походить на обезьяну?..

— Да... Но, возможно, произошло и нечто другое, милорд. Возможно, тут имела место телегония.

— Что это такое?

— Телегония — это влияние первого самца на последующее потомство самки, родившееся уже от других самцов. Факт подобного влияния отрицается биологами, как не выдерживающий научной критики, но его признавали и признают все скотоводы. Наиболее известный случай — это случай с кобылой лорда Мортона. Сперва ее спарили с зеброй и получили метиса. Затем ее уже спаривали с жеребцами ее же породы, но она по-прежнему приносила полосатых, как зебра, жеребят. Если мы признаем телегонию, то тогда вполне возможно, что самка, о которой идет речь, уже имела детеныша от самца своей же породы или от какой-нибудь большой обезьяны; и последующее потомство — результат скрещивания ее с человеком — сохранило черты первого производителя.

— Итак, обобщая все сказанное вами, вы считаете невозможным делать какие бы то ни было точные или даже приблизительные выводы о природе жертвы, исходя лишь из того факта, что она родилась от человека?

— Да, я думаю, это было бы неосторожно.

— Значит, вы можете повторить под присягой ваши

слова? А именно, что жертву нельзя считать человеческим существом?

— Под присягой? Нет, милорд. Еще раз повторяю, это лишь мое сугубо личное мнение. И вполне возможно, что правы те, кто придерживается в данном вопросе противоположной точки зрения. Вообще я полагаю, что врачи-практики, вроде меня, не компетентны в подобных вопросах: их должны решать специалисты по зоологии человека, то есть антропологи.

— Суд благодарит вас. Есть ли еще вопросы у обвинения? Нет. У защиты? Также нет. Вы свободны, доктор.

Место доктора Фиггинса занял судебно-медицинский эксперт доктор Балброу.

Это был седой как лунь старик с изможденным землистым лицом. Он сильно сутулился.

— Сообщил ли вам доктор Фиггинс во время вскрытия свои замечания о строении тела жертвы? — обратился к нему прокурор.

— Сообщил,— ответил свидетель.

— Пришли ли вы к тому же выводу, что и он?

— Нет.

— К какому же выводу пришли вы?

— К выводу, что смерть жертвы последовала от введения смертельной дозы стрихнина.

— Вас не об этом спрашивают,— вмешался председатель суда.

— Нам хотелось бы узнать,— продолжал прокурор,— какие выводы сделали вы из этих наблюдений, то есть считаете ли вы жертву человеком или обезьяной?

— Никаких выводов я не сделал.

— Почему?

— Потому, что в мои профессиональные обязанности не входит делать подобного рода выводы.

— Однако ж вы передали результат вскрытия полиции для того, чтобы та начала дело об убийстве,— сказал прокурор.

— Совершенно верно.

— Но ведь нельзя назвать преступлением убийство обезьяны! Следовательно, вы пришли к выводу, что от руки убийцы пал человек!

— Ни к какому выводу я не пришел. Я лишь обязан выяснить причину смерти, и только. Остальное касается суда, а не меня.

— Никогда не слышал ничего подобного! — воскликнул прокурор.

— Но ничего подобного никогда и не происходило,— возразил свидетель.

— Значит, вы решительно отказываетесь высказать свое мнение?

— Решительно.

Так ничего больше от доктора Балброу и не смогли добиться. Тогда вызвали известного антрополога — члена Королевского общества антропологов профессора Наача. Королевский колледж естественных наук, к которому обратился суд, рекомендовал его в качестве эксперта, каковой должен был дать необходимые разъяснения о природе жертвы. Это был уже немолодой человек, с лицом, изрытым морщинами, с взлохмаченными волосами, по которым он то и дело проводил ладонью, тщетно пытаясь привести в порядок свою седеющую шевелюру. Он плохо слышал, и голос у него оказался неприятным, хриплым. Не успел прокурор закончить свой вопрос, как он начал пронзительным голосом, отрубая слова:

— Это же просто идиотство! Что вы хотите узнать? Люди ли эти существа? Конечно, люди! Высекают они огонь? Высекают! Обтесывают камни? Ходят прямо? Ходят. Да вы взгляните на их астрагал! Видели ли вы когда-нибудь обезьян с подобным астрагалом? Не стоит вам его и описывать, все равно ничего не поймете! Есть такая кость в стопе. Одного астрагала было бы достаточно. Не говоря уже о костях плюсны, длинных, как фаланги! У них большой палец на ноге развит так же, как у обезьян? Ну и что же? Есть же у нас аппендикс и остаток третьего века, который достался нам по наследству от плезиозавров; а для чего они нам сейчас? Должно быть, еще недавно, каких-нибудь пятьдесят или сто тысяч лет назад, эти тропи жили на деревьях, вот и все. А теперь не живут и ходят прямо, как и мы. В каждом из нас есть нечто от обезьяны! Посмотрите на детей, которые учатся ходить: ходят так же, как шимпанзе, ставят стопу боком, а не опираются сразу на всю подошву. Взгляните на большой палец ноги современных веддов: он столь подвижен, что им свободно можно поднять с земли шестипенсовую монету! Что же, выходит, они не люди? Нужно договориться о том, кого мы называем человеком. Кем были люди Нгандонга? А человек, кости которого откопали совсем близко отсюда, в Питтдауне? Череп

у него, с вашего позволения, совсем такой же, как у нас с вами, милорд, а челюсть, как у гориллы. Ну, а тот, которого называют Shkul Cinq — маленький подбородок и зубы тоже, а бровные дуги, как у гиббона! От этого не уйдешь. Держится прямо — значит человек. Вот почему важна форма астрагала, на который опираются при ходьбе: если астрагал узкий и тонкий — значит обезьяна; если широкий и плотный — значит человек. Вот и все. Что, что?

Приложив лодочкой ладонь к уху, он обратил к суду свое нервически подергивающееся лицо.

— Я обращаюсь к защите! — прокричал судья.— Имеются ли у нее вопросы?

— Нет, милорд,— ответил адвокат.— Но мы хотели бы, чтобы с разрешения суда был заслушан один из наших свидетелей.

Обвинение высказалось против. Защита заметила, что показания профессора Наача доступны лишь специалистам и таким образом она, то есть защита, лишается своего священного права задавать вопросы свидетелям обвинения. Суд удовлетворил ходатайство защиты, и для свидетельских показаний был вызван член Королевского общества естественных наук, член Королевского общества палеонтологии и Имперского колледжа антропологии профессор Итонс. Высокий, спокойный, изысканно вежливый, с застывшей улыбкой на губах, он казался полной противоположностью своего ученого предшественника.

— Труды профессора Наача, посвященные сравнительному изучению астрагала шимпанзе, австралопитека и японки, равно как и наблюдения Ле Гро Кларка, безусловно, относятся к числу наиболее авторитетных. Однако у нас есть все основания опасаться, что выводы сделаны слишком поспешно. И я, к сожалению, должен довести до сведения суда, что ему пришлось выслушать множество самых нелепых высказываний. Нам прекрасно известно, что профессор Наач в своей теории исходит из учения великого Ламарка, каковой полагал, что у людей были живущие на деревьях четверорукие предки, которые затем, спустившись с деревьев и покинув леса, постепенно стали двурукими. Но судя по последним исследованиям...

— Мы не в состоянии следить за ходом вашей мысли,— прервал его судья.— Попросил бы вас выражаться яснее.

На эту реплику судья решился лишь потому, что заметил побагровевшие от напряжения лица присяжных, не спускав-

ших со свидетеля беспокойного взгляда широко открытых глаз.

— Я говорю об учении Ламарка и его школы,— продолжал свидетель,— согласно коему, как я уже имел честь заявить, предки человека жили на деревьях, подобно обезьянам, и так же, как и они, имели две пары рук, что давало им возможность цепляться за ветки. Впоследствии они покинули леса, в связи с чем постепенно менялись их нижние конечности, приспособляясь к передвижению по твердой земле. Таким образом, по мнению представителей этой школы, и сформировалась нога человека в том виде, в котором она существует ныне. Видимо, профессор Наач разделяет эти взгляды. К сожалению, последние данные сравнительной анатомии говорят не в пользу этой теории. Сопоставление конечностей всех млекопитающих — сошлюсь, например, на последние труды Фрешкопа — показывает, что нога человека не только не является дальнейшей ступенью в развитии стопы обезьяны, но, наоборот, по своему строению представляет собой гораздо более примитивный и грубый орган. Нога обезьяны, хотя на первый взгляд подобное утверждение может показаться парадоксальным, сформировалась значительно позднее, чем наша; не исключена возможность, что человек унаследовал ее от тетраподов третичного периода. Из чего явствует, что те индивидуумы (как например, тропи), чье строение ноги имеет хотя бы отдаленное сходство со стопой живущих на деревьях обезьян, не относятся к той ветви, от которой произошел человек.

— Таким образом, из ваших слов следует,— спросил судья,— что у наших млекопитающих предков уже миллионы лет тому назад была точно такая же нога, как у современного человека?

Свидетель подтвердил, что так оно и было.

— И что усовершенствовалась она у обезьян, когда те стали жить на деревьях, то есть произошло как раз обратное тому, что утверждал Ламарк, а именно, что нога человека, как таковая, появилась тогда, когда он спустился с деревьев?

— Да, именно так.

— Из этого, по вашему мнению, следует, что у представителей той ветви, от которой произошел человек, всегда были такие ноги, как у нас, и что эта ветвь в своем развитии не прошла через стадию обезьяны?

— Совершенно точно.

— И, наконец, что тропн, нмеющнх такое же строение ногн, как и обезьяны, нельзя отнести к тому биологическому внду, у которого на протяженни всего его развитня была такая же нога, как у современного человека...

— Да, это как раз то, что мы называем philum *. Тропн не могут прннадлежать к тому philum'у, который прнвел к созданню человека.

— Другнми словами (еслн только мы вас правнльно понялн), тропн как бы находятся в конце philum'а обезьян, а не в начале philum'а людей; словом, по-вашему, тропи — не какое-инбудь, как можно было бы предположить, пусть даже очень примнтнвное племя, а необычайно развнтая порода обезьян?

— Да, нменно так. Профессор Наач говорнл: «Они высекают огонь, оии обтесывают камни!» Но ведь теперь, когда найдеи сииантроп, мы зиаем, что высекать огонь и обтесывать камнн умелн даже такне прнмитивные, мало чем отличающиеся по своему развнтию от шимпанзе существа. Вообще достаточно вннмательно понаблюдать за тропи, и станет ясно, что онн скорее следуют некоему виутреннему *стимулу*, нежелн повннуются голосу разума... Таким образом,— заключил профессор Итонс,— тропн весьма подходит даииое нм названне Paranthropus: они похожи на людей, ио это не людн.

Профессор Наач, словио школьиик, уже тяиул со своего места руку. Прокурор попроснл суд предоставить ему слово. Суд дал согласие.

— Это неслыханно! — воскликиул Наач прямо со своего места, что в стенах англнйского королевского суда было поистине случаем беспрецедеитиым. Судья попытался было прервать его, но тщетно. Представитель защнты, улыбаясь, махиул рукой, как бы говоря: «Простнм свндетелю его рассеянность — пусть себе говорнт с богом!» — Неслыханно! — продолжал учеиый, не заметив этой пантомимы.— Стимул? Что такое стимул? Все стнмул! Логнческое мышление — н то стимул! Ведь должно же оно чем-то быть вызвано? Должио. Это вам не чудеса в решете! Химнческие процессы мозга и тому подобное! Стнмул, разум! Пустые слова. Одно лишь имеет зиачение: то́, что оии делают, н то́, чего ие делают. Синантроп? Возможно, он был человеком, почему бы и иет? Покажите мне его астрагал, н я вам скажу. Черт

* Тип (*лат.*).

возьми, господин профессор Итонс, неужели вы забыли Аристотеля? Что создало человека? — говорил он.— Мысль, а мысль — это рука. Все органы животных выполняют всегда одни и те же и притом неизменные функции. А рука может стать и крючком, и щипцами, и молотком, и шпагой — любым инструментом, при помощи которого она как бы удлиняется. Вот оттуда-то и вытекает необходимость мышления. А что высвободило руку, профессор Итонс? Прямостояние. У четвероногих рук не бывает? Не бывает. А раз нет рук, нет и мысли. Если астрагал плохо развит, прямостояния нет. Так что же создало мысль? Астрагал. От этого не уйдешь. Может быть, желаете возразить?

— Обязательно, если разрешит суд,— ответил его коллега с почтительной улыбкой, отвесив поклон в сторону председателя.

Судья вопросительно взглянул на обвинение. Но прокурор, решив быть столь же снисходительным, как и защита, изящным движением поднял белую тонкую руку.

— Суд полагает, что свободный обмен мнениями в данном случае желателен,— сказал судья,— поскольку дело идет уже не о свидетельских показаниях, а о сопоставлении различных точек зрения экспертов. Слово предоставляется вам, профессор.

Тот вежливо поклонился и начал:

— «Рука создала мысль»,— утверждает мой высокоуважаемый коллега. С его разрешения, я постараюсь доказать вам обратное. Не рука создала мысль, а мысль создала руку... Не слишком ли парадоксальное мнение? — спросите вы. Отнюдь нет, попробуйте просто изменить порядок слов: разум, рука, прямостояние. Именно потому, что человек начал мыслить, он встал на ноги и тем самым освободил руки. Вот истинная формула Аристотеля: мысль создала руку человека.

— Ну и что же,— крикнул с места Наач,— у тропи есть руки? Есть.

— И у обезьян также...

— Следовательно, они думают? А может быть, они еще и ходят прямо? Неслыханно! — воскликнул Наач.— Неслыханно! Просто галиматья.

— ...И у обезьян также есть руки,— терпеливо закончил Итонс,— но сознательно они еще ничего не умеют делать руками, потому они не пытаются освободить их, приняв вертикальное положение.

— Ну, а тропи уже освободили руки, раз они держатся прямо! Значит, они люди.

— Этого недостаточно.

— Что же тогда еще нужно?

— Нужен целый комплекс, профессор Наач, и вы это сами прекрасно знаете. Из тысячи шестидесяти пяти отличительных признаков, обнаруженных Кейтом при сравнительном изучении анатомии человека и различных видов обезьян, как-то: величина черепной коробки, число спинных позвонков или же число зубных бугорков и т. д., две трети присущи как человеку, так и различным обезьянам, остальные же характерны лишь для того, кого мы именуем homo sapiens *. И если у индивидуума отсутствует хотя бы один из этих признаков, и не только один из таких специфических, как например количество нейронов серого вещества или строение самой нервной клетки, но и такое, как форма и строение зубов, соотношение грудной клетки и позвонка или даже их отростков; если только мы отметим, повторяю, отсутствие хотя бы одного из этих признаков,— мы уже не вправе считать его человеком в полном смысле этого слова.

— А кем же в таком случае вы считаете неандертальского человека?

— Он не принадлежит к homo sapiens. Мы называем его так только ради удобства.

— А ведды, пигмеи, австралийцы и бушмены?

Пожав плечами, Итонс сокрушенно улыбнулся и беспомощно развел руками.

— Честное слово, профессор,— воскликнул Наач,— уж не согласны ли вы с гнусной статьей Джулиуса Дрекслера?

— Статья Джулиуса Дрекслера,— спокойно возразил Итонс,— открывает перед наукой вполне разумные перспективы. Возможно, некоторые его выводы носят следы излишней поспешности и несколько упрощены. Но он совершенно прав в той ее части, где защищает неприкосновенность и независимость науки и напоминает нам, что последняя не нуждается в сентиментальных или так называемых гуманных предрассудках. Добиться равенства между людьми — задача, несомненно, благородная, но она должна интересовать биолога, как говорил мой учитель Ланселот Хогбен, лишь после восьми часов вечера... И если наука в конце кон-

* Человек как разумное существо (*лат.*).

цов докажет, что настоящим человеком является лишь белый человек, если она установит, что цветных нельзя считать людьми в полном смысле этого слова, мы, безусловно, сочтем этот факт прискорбным. Но обязаны будем согласиться с подобными выводами. И должны будем признать, что правы были не мы, а наши предки, некогда превратившие их в рабов, тогда как мы, исходя из чисто научной ошибки, неосмотрительно признаем их равными себе. Было бы правильнее, как говорит Джулиус Дрекслер, пересмотреть вообще весь вопрос и таким образом...

Ропот возмущения пронесся по залу, постепенно он перерос в яростный гул, заглушивший голос профессора Итоиса, который, не переставая вежливо улыбаться, умолк. Судья Дрейпер взглянул на свои часы. «Скоро шесть — весьма кстати»,— подумал он. И, встав, покинул зал заседания. Публику попросили удалиться.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Размышление судьи Дрейпера о британском гражданине как о человеческой личности. Размышление о человеческой личности вообще. У всех народов есть свои табу. Неожиданное вмешательство леди Дрейпер. «У тропи нет амулетов». У всех народов есть свои амулеты.

Обычно сэр Артур доезжал до своего клуба на автобусе; это был тот самый знаменитый Реформ-клаб на Пелл-Мелл, откуда одним дождливым утром отправился в кругосветное путешествие Филеас Фогг. Там судья спокойно прочитывал номер «Таймс» и затем часам к восьми возвращался в Онслоу-меншнс, расположенный в районе Челси.

Но на сей раз он решил, что в такой чудесный теплый вечер гораздо приятнее пройтись пешком.

На самом же деле впервые за тридцать лет ему не хотелось видеть своих старых одноклубников, не хотелось даже молча просматривать в их присутствии вечерние газеты.

Размеренным, спокойным шагом шел он по набережной Темзы и думал о только что окончившемся заседании суда. «Что за странный процесс»,— прошептал он. Ему было известно, какие именно соображения заставили Дугласа отдаться в руки правосудия. Мужественные, благородные соображения. «Но ведь,— думал он,— получается так, что обвинение выдвигает против него его же собственный тезис: тропи — люди. А защита обязана доказывать обратное, и, желая убедить нас в том, что тропи животные, она вызывает свидетелей, проповедующих как раз ту самую расовую дискриминацию, борясь против которой обвиняемый рискует своей жизнью; и он вынужден согласиться с такой системой защиты, при которой выдвигаются положения, прямо противоречащие его цели... Что за путаница! К тому же, если будет доказано, что тропи животные, победа останется за компанией Такуры... Потому симпатии подсудимого должны быть на стороне обвинения... Одним словом, только ценой своей смерти он может выйти победителем. И лишь потерпев поражение, может спасти свою жизнь... Интересно, отдает ли он себе в этом отчет, задумывался ли над последствиями?

Трудно сказать; тем более, что сам он не говорит ни слова, отказывается от выступлений».

Вечерело, какой-то особенно прозрачный голубой туман окутал город, и прохожие встречались и расходились плавно и молча, словно статисты в балете. Судья смотрел на них с новым для него чувством любопытства и симпатии. «Вот оно, человечество,— думал он.— Относятся ли к нему тропи? Странно все-таки: задаешь себе подобный вопрос и не можешь сразу же на него ответить. Странно, но приходится признать, что происходит это оттого, что мы сами еще не знаем, чем же мы от них отличаемся... Надо сказать, что мы никогда не задумываемся над тем, что такое человек. Нам достаточно уже и того, что мы люди; в самом факте нашего существования есть некая очевидность, не нуждающаяся ни в каких определениях...»

Стоя на небольшом возвышении, «бобби» * не спеша, с чувством собственного достоинства регулировал уличное движение.

«Вот ты говоришь себе,— растроганно подумал сэр Артур,— вот ты говоришь: «Я полисмен. Я регулирую движение». И ты знаешь, что это означает. Порой тебе случается говорить: «Я британский гражданин». Это тоже вполне определенное понятие. Но сказал ли ты хоть раз за всю свою жизнь: «Я человеческая личность»? Подобная мысль показалась бы тебе смешной; уж не потому ли, что она чересчур неопределенна: ведь будь ты только человеческой личностью, ты бы не чувствовал под ногами твердой почвы?». Судья улыбнулся. «А чем я лучше его? — продолжал он размышлять.— Я тоже думаю: я судья, мой долг — выносить правильные решения. Если меня спросят, кто я, у меня готов и другой ответ: «Я верноподданный его величества». Насколько проще определить, что такое англичанин, судья, квакер, лейборист или полисмен, чем что такое человек, просто человек!.. И вот вам доказательство — тропи... Все-таки куда удобнее чувствовать себя чем-то таким, что не требует никаких пояснений».

«И теперь по вине каких-то несчастных тропи,— думал он,— я вновь запутался в тех не имеющих ни конца, ни начала вопросах, которые пристало решать двадцатилетнему юнцу... Запутался или, наоборот, снова вышел на правильный путь? — подумал он вдруг с неожиданной для самого

* Полисмен (разговорн. *англ.*).

себя откровенностью.— А в конце концов, почему перестал я задавать себе эти вопросы, были ли у меня на то достаточно веские основания?» Когда его назначили судьей, он еще не достиг возраста, необходимого для замещения судейской должности в Соединенном Королевстве. Он помнил, как мучили тогда его вопросы: «Что дает нам право судить других? На чем мы основываемся? Как определить основное понятие виновности? Что за нелепое стремление — проникнуть в душу и сердце человека! Что за абсурд: умственная неполноценность смягчает вину преступника, она как бы частично снимает с него ответственность, и мы судим его менее сурово. Но почему умственная неполноценность служит ему оправданием? Очевидно, потому, что он менее других способен подавлять свои инстинкты; но, стало быть, он может вновь совершить преступление. Как раз его-то и нужно было бы лишить возможности приносить зло окружающим; его следовало бы судить более сурово, чем человека, для которого нельзя найти подобного рода смягчающих обстоятельств, поскольку разум и мысль о перенесенном наказании скорее дают нам силу подавлять свои инстинкты. Но какое-то чувство говорит нам, что это было бы бесчеловечно и несправедливо. Таким образом, общественное благо и справедливость совершенно несовместимы». Он вспоминал, что в ту пору его так измучили все эти вопросы, что он чуть было не отказался от обязанностей судьи. Но со временем он очерствел; правда, не так, как большинство его коллег, невероятная черствость которых и сейчас удивляла его и ставила в тупик. Тем не менее с годами он так же, как и все прочие, решил, что не стоит терять зря время и силы на эти неразрешимые вопросы, и с несколько запоздалой мудростью целиком положился на установленный порядок, традиции и на юридические прецеденты. И даже с высоты своего преклонного возраста с презрением поглядывал на ту самонадеянную молодежь, которая тщится противопоставить свою собственную крошечную совесть всему британскому правосудию!..

А тут на склоне лет он столкнулся с поразительным случаем, который вновь выдвинул перед ним все те же проклятые вопросы, потому что никакой установившийся порядок, никакие традиции, никакие юридические прецеденты не в состоянии тут помочь! И он сам не смог бы, положа руку на сердце, сказать, сердит ли это его или радует. Но, судя по тому бунтарски непочтительному смеху, который клоко-

тал в груди, как бы служа беззвучным аккомпанементом хору его сокровенных мыслей, он вынужден был признать, что скорее радует; к тому же вся эта нсторня как нельзя лучше отвечала юмористическому складу его ума. А потом, сэр Артур любил свою молодость. Любил и был счастлив оттого, что она оказалась права.

Вступив на стезю восхитительного отступничества, он безжалостным, критическим оком пересматривал эти установившиеся порядки, прецеденты, почетные традиции. «В конце концов,— думал он,— и у нас, как у дикарей, существуют тысячи табу. Можно, нельзя. Ни одно из наших требований или запрещений не покоится на незыблемом фундаменте. Ведь все то, что связано с понятием «человек», можно постепенно разложить, как в химии, на отдельные компоненты и свести к простейшей основе, к определению того, что же мы считаем человеческим. Но именно эту-то основу мы никогда и не пытались определить. Просто невероятно. А необоснованные запрещения — те же табу. Мы так же свято, как и дикари, верим в законность, в необходимость своих табу. Единственное различие в том, что мы сумели усовершенствовать свои табу. Мы создаем их, опираясь не на магию, или тотем, а на философию и религию. А теперь ищем им объяснение даже в социологии и истории. Порой нам приходится выдумывать новые табу. Или на ходу видоизменять старые (что, впрочем, бывает редко). Или, если вопреки традициям эти табу начинают казаться нам слишком устаревшими или слишком вредными, мы подновляем их. Я согласен, что в целом все это хорошие, превосходные табу. Чрезвычайно полезные табу. Необходимые для жизни общества. Но тогда на чем мы должны строить свои суждения о жизни общества? И не только о той форме, в какую она вылилась или может вылиться, но вообще судить о том, хороша она или нет сама по себе или просто необходима для чего-то другого. Но тогда для кого? Для чего? Ведь все это тоже табу и ничего больше».

Он остановился на самом краю тротуара, ожидая сигнального света, разрешающего переход.

«У нас, у христиан,— думал он,— по крайней мере имеется евангелие, заповеди, которые учат: «Возлюби ближнего своего как самого себя. Подставь левую щеку...» А ведь это находится в вопиющем противоречии с основными законами природы. Вот потому-то мы и считаем, что эти заповеди столь прекрасны. Но что прекрасного в том, что мы

противопоставляем себя природе? Почему именно в этом пункте должны мы отвергать законы, которым подчиняются все животные? «Такова воля господия»,— этого, конечно, достаточно, чтобы заставить нас исполнить долг свой, но отнюдь не достаточно, чтобы растолковать его нам. Пусть меня повесят, если все это не просто табу!»

Он переходил улицу прямо напротив Вестминстер-бридж. «Если бы я высказал подобные мысли вслух, все бы решили, что я богохульствую. Но я вовсе не богохульник. Ибо я глубоко убежден в справедливости евангельских заповедей, табу они или нет. И, возможно, именно потому, что они порывают с природой, с ее слепым волчьим законом взаимного пожирания. И вообще, не является ли милосердие, справедливость — словом все эти табу — противопоставлением природе?.. Пожалуй, если поразмыслить немного, то неизбежно придешь к выводу: для чего были бы нужны нам правила, законы, религиозные заповеди, для чего нам были бы нужны мораль или добродетель, если бы человеку со всеми его слабостями не приходилось постоянно сдерживать и подавлять в себе мощный голос природы?.. Да, да, все наши табу основываются на противопоставлении человека природе... А ну-ка, ну-ка,— прошептал он вдруг, чувствуя приятное волнение мысли,— может быть, это и есть та самая неизменная основа? Не здесь ли следует искать ответ?»

«Возможно, вопрос стоит именно так: есть ли табу у тропи?» — подумал было он, как вдруг пронзительный визг резко затормозившей машины заставил его отскочить назад, и вовремя! Пришлось постоять немного, чтобы унять биение сердца. Стройный ход мыслей был нарушен.

* * *

Вечером он обедал в холодной столовой Онслоу-меншнс. Напротив него, на другом конце длинного стола из полированного красного дерева, сидела леди Дрейпер. Как обычно, оба молчали. Сэр Артур очень любил свою жену, сердечную, преданную, мужественную женщину, принадлежавшую притом же к весьма знатному роду. Но он считал ее восхитительно глупой и невежественной, именно такой, какой и подобает быть женщине из респектабельной семьи. Никогда она не задавала мужу неуместных вопросов, касающихся его служебных дел. Казалось, ей нечего было рассказать ему и о себе. И это давало чудесный отдых мысли.

Но в этот вечер она неожиданно спросила его:

— Надеюсь, вы не осудите молодого Темплмора? Это было бы чудовищно!

Сэр Артур, слегка шокированный этими словами, поднял на свою супругу удивленный взгляд.

— Но, дорогая моя, это не касается ни меня, ни вас: решение выносят присяжные.

— О,— мягко возразила леди Дрейпер,— вы прекрасно знаете, что присяжные поступят так, как вы захотите.

И она полила мятным соусом кусок вареного мяса.

— Мне было бы очень жаль эту милую Френсис,— продолжала леди Дрейпер.— Ее мать дружила с моей старшей сестрой.

— Все это,— начал сэр Артур,— не может ни в какой мере повлиять...

— Конечно,— живо возразила жена.— Но,— добавила она,— ведь Френсис — такая милая девочка. И было бы слишком несправедливо отнять у нее мужа.

— Конечно, но все-таки... Правосудие его величества не может принимать в расчет...

— Мне иногда приходит в голову,— сказала леди Дрейпер,— не бывает ли то, что вы именуете правосудием... Я хочу сказать, что в тех случаях, когда правосудие несправедливо, мне приходит в голову... Вас никогда не тревожат такие мысли? — спросила она.

Столь неслыханное вторжение леди Дрейпер в самую суть его чисто профессиональных дел настолько поразило сэра Артура, что он не сразу нашелся что ответить.

— Да и вообще, по какому праву,— продолжала она,— вы пошлете его на виселицу?

— Но, моя дорогая...

— В конце концов вы же сами прекрасно знаете, что он убил всего лишь маленькое животное.

— Ну, положим, этого еще никто не знает...

— Простите, но всё указывает на это.

— Что «всё»?

— Не знаю. Это само по себе вполне очевидно,— ответила она, изящным движением поднося к губам ложку, где, как живой, трепетал кусочек розоватого бланманже.

— Что именно очевидно? Право же, вы меня...

— Не знаю,— повторила она.— Хотя вот вам: они даже не носят на шее амулетов.

Должно быть, позднее сэру Артуру не раз приходило на

ум замечание его супруги; возможно, оно в какой-то мере определило его поведение на суде — настолько оно совпадало с его собственной мыслью: есть ли табу у тропи?

Но в эту минуту замечание супруги показалось ему нелепым, и только. Он воскликнул:

— Амулеты! А разве вы сами носите амулеты?

Леди Дрейпер с улыбкой пожала плечами.

— Порой мне кажется, что да. Я хочу сказать, иногда мне кажется, что ношу. А разве ваш прекрасный судейский парик, в конце концов, не тот же амулет?

Подняв руку, она остановила готовое сорваться с его губ возражение. И он не без удовольствия,— в который раз! — заметил, какая у нее тонкая, белая, еще очень красивая рука.

— Я вовсе не шучу,— сказала она.— Я думаю, у каждого возраста есть свои амулеты. И у народов также. Конечно, молодым нужны амулеты попроще, другим, постарше — уже более сложные. Но они, я полагаю, есть у всех. А вот у тропи, как вы видите, их нет.

Сэр Артур молчал. Он с удивлением смотрел на свою жену. А она продолжала, складывая салфетку:

— Амулеты совершенно необходимы, если во что-то веришь, не так ли? Если же не веришь, то... Я хочу сказать, что можно не верить в общепризнанные истины, но это не значит... Я хочу сказать, что даже вольнодумцы, которые утверждают, что ни во что не верят, и те, как мы видим, ищут что-то, не так ли? Одни... изучают физику... или же астрономию, другие пишут книги, а это и есть, в сущности, их амулеты. Таким образом, они... Ну — словом, это их убежище против всего того, что нас так пугает, когда мы об этом думаем... Вы согласны со мной?

Он молча кивнул головой. Она рассеянно вертела салфетку, продетую в серебряное кольцо.

— Но *действительно* ни во что не верить...— продолжала она,— не иметь никаких амулетов, значит никогда ни над чем не задумываться, не правда ли? Никогда. Потому что, как только начинаешь задумываться... мне кажется... начинаешь бояться. А как только начинаешь бояться... Даже у тех несчастных негров, которых мы с вами видели на Цейлоне, Артур, даже у этих совершенно диких негров, которые ничего не умеют делать, не могут сосчитать до пяти и едва умеют говорить... даже у них есть свои амулеты. Значит, они верят во что-то. А раз они верят... значит, они уже задумы-

вались над чем-то... задумывались над тем, кто обитает на небе или, может быть, в лесу, не знаю где... задумывались над тем, во что они могут верить... Вот видите! Даже они, эти несчастные дикари, задумывались... Так вот, если какое-нибудь существо ни над чем не задумывается... действительно ни над чем, совершенно ни над чем... значит, это — просто животное. Мне кажется, только животное может жить и что-то делать на этой земле, не задаваясь никакими вопросами. Вы не согласны со мной? Даже деревенский дурачок, и тот задумывается над чем-то...

Они поднялись из-за стола. Сэр Артур подошел к жене, осторожно обнял ее и поцеловал в висок.

— Вы высказали сейчас весьма интересные соображения, дорогая моя. Пожалуй, обо всем этом следует подумать. И если вы разрешите, немедленно же! Пока ко мне не пришли с визитом. Я как раз жду гостя...

Леди Дрейпер нежно коснулась своими седеющими локонами щеки мужа.

— Вы ведь оправдаете его, да? — спросила она с пленительной улыбкой.— Мне будет так жаль эту девочку!

— Повторяю вам, дорогая, один только присяжные...

— Но ведь вы сделаете все, что от вас зависит?

— Надеюсь, вы не потребуете от меня никаких обещаний? — мягко спросил сэр Артур.

— Конечно. Я просто полагаюсь на вашу справедливость, Артур.— Супруги еще раз поцеловались, и сэр Артур вошел в свой кабинет. И сразу же опустился в глубокое кресло.

— У тропи нет табу,— сказал он чуть ли не вслух.— Они не рисуют, не поют, у них нет ни праздников, ни обрядов, нет никаких знаков, нет колдунов, и у них нет даже амулетов. Они даже не людоеды.

И он произнес еще громче:

— Могут ли существовать вообще люди без табу?

Рассеянным, но пристальным взглядом он смотрел на портрет сэра Уэстона Дрейпера, баронета, кавалера ордена Подвязки. Он прислушивался к неудержимому смеху, который зрел в самой глубине души и наконец тронул его губы.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Свидетельские показания профессора Рэмпола и опровержения капитана Троппа. Последние выступления свидетелей. Речь прокурора, речь защитника. Судья Дрейпер подводит итог судебному разбирательству. Присяжные растеряны. Прежде чем установить, люди ли тропи, необходимо определить, что такое человек. В кодексе законов полностью отсутствует официальное определение человека. Присяжные отказываются вынести вердикт.

На следующем заседании были выслушаны еще два антрополога, вызванные в суд обвинением. И хотя ученые считали, что Paranthropus'а следует отнести к человеческому роду, обосновывая этот вывод, они так противоречили друг другу, что защита ограничилась лишь насмешливым молчанием, куда более красноречивым, чем самая страстная речь.

В свою очередь защита вызвала двух ученых-психологов: профессора Рэмпола, крупнейшего специалиста по вопросам психологии примитивных народов, и знаменитого капитана Троппа, посвятившего себя изучению умственных способностей человекообразных обезьян.

Череп профессора Рэмпола был так восхитительно лыс, что казалось, он с умыслом лишился своей шевелюры, лишь бы предоставить к услугам френологов столь редкостный объект для исследования. В правом глазу, затянутом бельмом, он носил монокль, и это делало его похожим на офицера кайзеровской армии. Но мягкий, удивительно приятного тембра голос заставлял забывать непривлекательную внешность профессора.

Первый же обращенный к нему вопрос, казалось, привел ученого в замешательство: существует ли, спросили его, признак, по которому можно безошибочно, исходя из данных науки, отличить разум примитивного человека от ума животного?

После минутного раздумья сэр Питер сказал, что несколько месяцев назад он бы ответил, что таким признаком является речь. Артикулированная у человека, в отличие от речи животного, отмеченная у первого деятельностью вооб-

ражения и памяти, она у животного — застывшая и инстинктивная. Но появление тропи вынуждает его признать, что он не сделал всех необходимых выводов: речь тропи, по-видимому, инстинктивна, но в то же время и членораздельна; ее нельзя считать застывшей речью существа, лишенного воображения, поскольку запас слов у тропи увеличился, хотя бы за счет подражания; таким образом, ее нельзя считать ни человеческой речью, ни речью животных: она содержит элементы той и другой; теперь ему стало ясным, что специфичным надо считать не речь, которая является лишь средством общения, а самую потребность общения, равно как и цель его.

Подумав, он добавил:

— Некоторые ученые считают, что это специфическое различие лежит в способности человека создавать мифы. По мнению других, оно заключается в способности человека пользоваться символами и прежде всего простейшим из них — словом. Но в обоих этих случаях мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: какой специфической необходимостью обусловлено создание мифов и символов?

Он провел большой узловатой рукой по своему блестящему черепу.

— Видите ли, рассуждая таким образом, мы вряд ли сумеем прийти к положительному выводу. Поэтому лучше остановиться на фактах, поддающихся контролю: то есть на тех, которые познаются путем анализа различных мозговых связей. Сравнительное изучение этих связей у человека и у животных, возможно, позволило бы установить точное и ясное различие.

— Мы не совсем улавливаем ход ваших мыслей,— остановил его судья.

— Мозг часто сравнивают,— продолжал сэр Питер,— с гигантской телефонной станцией, которая с неслыханной быстротой связывает тысячи различных центров: одни из них ведают наблюдением или изучением, другие руководят или приказывают. В общем все эти связи определены довольно точно. Я хочу сказать — их роль и количество достаточно хорошо изучены как у человека, так и у различных видов животных. Итак, человеком, по-моему, следует считать всякое существо, мозг которого объемлет всю сумму перечисленных выше связей, а животным — существо, мозг которого этими связями не обладает.

— Но,— попытался уточнить вопрос сэр Артур,— разве количество этих связей одинаково у всей людей, независимо от их классовой принадлежности, возраста, развития, расы?

— Н-и-нет,— замялся сэр Питер, потирая переносицу.— Это было бы слишком просто... Различия существуют... и большие различия... и все-таки не в этом главное. Ведь сумма связей у самого отсталого из негритосов несравненно больше, чем у самого развитого шимпанзе. Можно даже, если хотите, взять количество и качество мозговых связей негритосов за тот минимум, которым должен обладать индивидуум, чтобы иметь право именоваться человеком.

Сэр Артур задумчиво покачал головой и не сразу задал вопрос.

— Не слишком ли произволен и даже искусствен принцип такой классификации? Ведь мы строим эту классификацию, приняв за необходимый минимум мозговые связи негритосов, а затем, исходя из той же классификации, считаем негритосов людьми, поскольку они действительно обладают этим минумумом.

Профессор непринужденно рассмеялся и сказал:

— Пожалуй. Но, право, я и сам не знаю, как выбраться из этого заколдованного круга.

— Кроме того, не противоречите ли вы самому себе? Тот, у кого отсутствуют некоторые из этих связей, по вашим словам, уже не может называться человеком. Но разве их отсутствие нельзя объяснить специфическими умственными особенностями того или иного индивидуума?

— Совершенно справедливо.

— Следовательно, если у тебя нет тех или иных свойств, ты уже перестаешь быть человеком? А ведь вы сами утверждали здесь, что если это и возможно, то, во всяком случае, очень рискованно.

— Вы совершенно правы,— ответил профессор.

— Итак, из всего сказанного,— продолжал сэр Артур,— нам, очевидно, придется сделать вывод, что антропология, равно как и зоология, не в состоянии установить точной границы, отделяющей человека от животного?

— Боюсь, что это так.

Наступило довольно продолжительное молчание. Затем сэр Артур, чуть заметно улыбнувшись бледно-розовой тюлевой шляпке с зеленым бантом, видневшейся в глубине зала, спросил:

— Если не ошибаюсь, профессор, на земле не существует такого племени, независимо от того, живет ли оно на самом отдаленном острове или где-нибудь в неизведанной пустыне, чью психологию вы бы не изучили самым детальным образом. Так вот, видели ли вы хоть одно племя, которое бы не носило амулетов?

По залу пронесся легкий смех, несколько ослабивший напряжение. Но профессор даже не улыбнулся.

— А ведь и в самом деле нет. Никогда не видел,— после некоторого колебания ответил он.

— Чем же вы объясняете это явление?

— Что именно вас интересует?

— Не кажется ли вам, что вера в амулеты, которая существовала во все века и у всех народов свойственна исключительно человеку?

— Да. Равно как и способность создавать мифы. Но это еще ничего не доказывает.

— Как знать,— возразил сэр Артур.— Разве способность задавать себе вопросы, даже самые примитивные, не свойственна только человеку, одному лишь человеку?

— Конечно.

— А нельзя ли,— продолжал судья,— объяснить эту способность некоторыми мозговыми связями, которых нет у животных?

— Нельзя ли? — задумчиво повторил профессор.— Ведь любопытство свойственно и животным. Многие животные страшно любопытны.

— Однако они не носят амулетов.

— Да, не носят.

— Значит, если они и любопытны, то иначе, чем человек. Ведь они-то не задаются вопросами?

— Вполне с вами согласен,— ответил сэр Питер.— Отвлеченное мышление свойственно только человеку. Животным оно недоступно.

— Вы в этом абсолютно уверены? Стало быть, у животных невозможно обнаружить признаков такого любопытства, пусть даже в самом зачаточном состоянии?

— Не думаю,— ответил сэр Питер.— Такие вопросы выходят за пределы моей компетенции, но на первый взгляд... Животное смотрит, наблюдает, ждет, что станется с тем или иным предметом, какие произойдут с ним изменения... и только. Вещь исчезает, а вместе с ней проходит и любопытство. Ни... ни этого протеста, ни этой борьбы против немоты

окружающего их мира вещей. Дело в том, что любопытство животного всегда остается чисто потребительским, ему нет никакого дела до вещей как таковых, они интересуют его лишь в той мере, в какой соотносятся с ним самим — он неотделим от них, неотделим от природы, прикован к ней всеми фибрами, не абстрагируется от вещей с целью познать их извне... Одним словом,— закончил сэр Питер,— животные не способны мыслить отвлеченно. Не здесь ли, в таком случае, следует искать переплетение связей... специфическое переплетение, которое доступно человеку, и только человеку.

Вопросов к свидетелю не было. Судья поблагодарил профессора и не стал его больше задерживать.

Его место занял капитан Тропп — розовый, дородный блондин с живыми смеющимися глазами. Сэр Артур напомнил присяжным, что капитан Тропп является автором многочисленных докладов, сделанных им в Музее естественной истории и обобщающих его опыты с человекообразными обезьянами, и что его известность уже давно перешагнула границы Великобритании.

Судья вкратце изложил ему сообщение сэра Питера Рэмпола и те споры, которые оно вызвало. Затем задал ему следующий вопрос:

— Считаете ли вы, капитан Тропп, что даже самые развитые обезьяны лишены малейшей способности абстрагировать?

— Ну, конечно, нет! — воскликнул толстяк.

— Простите!

— Вовсе они не лишены этой способности. Они могут абстрактно мыслить, точно так же, как и мы с вами.

Сэр Артур растерянно заморгал глазами, в зале воцарилось молчание.

— Профессор Рэмпол сказал нам...— начал он наконец.

— Знаю, знаю,— прервал его капитан Тропп.— Все эти люди считают животных просто дураками!

Сэр Артур не смог сдержать улыбки, и весь зал, облегченно вздохнув, улыбнулся вслед за ним.

— Вы не читали моего сообщения,— продолжал Тропп,— об опытах Вольфа? Тогда послушайте: он установил у своих шимпанзе автоматический раздатчик изюма, работающий при помощи жетонов. Обезьяны очень скоро научились им пользоваться. Затем он установил автомат, выдающий жетоны. Обезьяны включили его и полученные жетоны сразу

же опустили в первый. Но немного погодя Вольф выключил раздатчик изюма. Тогда обезьяны набрали себе жетонов и спрятали их в ожидании того часа, когда первый автомат снова заработает: словом, они как бы изобрели для себя деньги и даже узнали, что такое жадность. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? А Верлен! Нет, не французский поэт, а бельгийский профессор. Взять хотя бы его опыты с макакой! Обезьяна *низшая*, заметьте это. Ему удалось доказать, что его макака прекрасно отличает живое от мертвого, зверя от растения, минерал от металла, дерево от ткани; она ни разу не ошиблась, разбирая гвозди и спички, а также пух и кусочки ваты. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? Или, например, их речь! Обычно считают, что обезьяны не умеют говорить. Но они говорят, и еще как говорят! Шестьдесят лет назад Гарнер установил, что между нашим языком и языком обезьян существует только количественная разница; больше того, у нас с ними много общих звуков. Я знаю, Делаж и Бутан во Франции опровергают это мнение. Но сравнительное изучение гортани, проведенное Джакомини, дало возможность составить шкалу, показывающую, как постепенно совершенствуется гортань у гоминидов: от орангутанга через гориллу, гиббона, шимпанзе, бушмена, негритянку до белого человека. Почему же развитию гортани не должно соответствовать развитие речи? Разве обезьяны виноваты в том, что мы не понимаем их языка? Кстати, милорд, они понимают нас гораздо лучше: у Гледдена была обезьяна-шимпанзе, которая, не задумываясь, выполняла сорок три приказания, которые отдавались без сопровождения жестов. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? А Фэрнесу удалось научить молодого орангутанга произносить слово «папа». Добиться этого было весьма затруднительно, ибо у животных имеется тенденция не выдыхать звуки, которым их стараются научить, а, так сказать, глотать. Но научившись слову «папа», орангутанг произносил его всякий раз, когда к нему подходил мужчина, и никогда не называл так женщин: что же, по-вашему, и это не абстрактное мышление? Затем Фэрнес, придавливая язык орангутанга лопаточкой, научил его произносить слово «cup» *. Возможно, такой метод покажется вам искусственным, но с тех пор орангутанг всегда говорил слово «cup», когда ему хотелось пить: что же это, как не абстрактное

* Чашка (*англ.*).

мышление? Затем Фэрнес попытался научить его произносить артикль «the»,— это ведь уж абстракция чистой воды. К несчастью, молодой орангутанг умер, так и не усвоив звука «the»...

— Охотно верю,— сказал сэр Артур,— у меня есть немало друзей французов, право же, людей, достаточно смышленых, которые так и не смогли научиться произносить это слово... Бедная обезьяна... Но мы, кажется, не совсем правильно поставили наш вопрос. Комиссии хотелось бы знать: не приходилось ли вам самому наблюдать, или, может быть, вам известны факты, что кто-то другой заметил у обезьян хотя бы зачатки метафизического мышления?

— Метафизического мышления...— задумчиво повторил капитан Тропп и опустил голову, отчего у него сразу же появилось три подбородка.— Что вы понимаете под этим термином? — наконец спросил он.

— Мы понимаем под этим... чувство беспокойства,— ответил сэр Артур,— чувство страха перед неизвестным, желание объяснить необъяснимое, способность верить во что-то... Словом, не приходилось ли вам встречать обезьян, у которых были бы свои амулеты?

— Да, я видел обезьян, которые привязывались к какой-нибудь вещи так же, как ребенок привязывается к своему плюшевому медвежонку. Они играли с полюбившимися им предметами и не расставались с ними даже ночью. Но это вовсе не амулеты. Явление несколько другого порядка я наблюдал в Калькутте у молодой мартышки, отличавшейся чрезмерной стыдливостью: она никогда не засыпала, предварительно не прикрыв все что полагается зеленой сандалией, с которой никогда не расставалась. А вот амулеты?.. Нет... Но, черт возьми,— вдруг воскликнул он,— почему вы хотите, чтобы у них были амулеты? Они живут в природе, в непрерывном общении с ней и не боятся природы! Ее боятся только дикари! Только дикари задают себе все эти дурацкие вопросы! Но какая им от этого польза? Если они, не в пример обезьянам, недовольны своим существованием и не желают быть такими, какими их создал бог,— то гордиться здесь еще нечем! Они просто анархисты. Бунтари, которым ничем не угодишь. Почему вы хотите, чтобы мои славные шимпанзе начали задавать себе всякие дурацкие вопросы? Амулеты? Покорно благодарю!

— Уверяю вас, мы вовсе этого не хотим,— с добродушной улыбкой успокоил его сэр Артур.— Мы просто хотели

бы получить от вас точный ответ: действительно ли у обезьян полностью отсутствует метафизическое мышление, нет хотя бы его следов?

— Никаких следов! Даже намека на них нет! Даже намека! — ответил капитан, торжествующе щелкнув ногтем по зубам.

— И вы тоже, капитан Тропп,— спросил его вкрадчивым голосом адвокат,— не задаетесь подобными вопросами?

— Какими вопросами? — насторожился капитан Тропп.— Я добрый христианин, я верю в бога, а отсюда все качества. Почему же вы... Вы что, за дикаря меня принимаете, что ли?

Сэр Артур любезно уверил капитана Троппа, что за дикаря его никто не принимает, поблагодарил за выступление, и тот удалился. Затем один за другим выступили Грим, Вильямс, Крепс и отец Диллиген; они подробно рассказали о своих наблюдениях над тропи и о тех опытах, которые они с ними проделали. Им задали всего несколько вопросов. Было очевидно, что защита не пытается даже добиться каких-либо преимуществ и выиграть лишнее очко. Она лишь постоянно уравновешивала силы, то есть делала все возможное, чтобы вопрос остался нерешенным: всякий раз, когда обвинение заостряло внимание на какой-либо детали, свидетельствующей о том, что тропи — люди, защита, со своей стороны, тотчас же обращала внимание на какой-либо факт или наблюдение, которые бы доказывали обратное. Но если, напротив, один из свидетелей приводил слишком веские доводы в пользу того, что тропи животные, защита незамедлительно выдвигала новое доказательство, подтверждающее их человеческую природу. При этом прокурор торжествующе потрясал своими широкими рукавами, а окончательно сбитые с толку присяжные только дивились такой странной системе защиты.

Последним выступал отец Диллиген. Он говорил так живо и забавно, что даже сумел несколько разрядить напряженную атмосферу, царившую в зале: он говорил в основном о языке тропи и даже несколько раз крикнул, подражая им. Во всякой иной аудитории его выступление встретили бы дружными аплодисментами; когда он возвращался на свое место, его перехватила пожилая дама и завела с ним бесконечную беседу о своих любимых попугаях,— и бедный отец Диллиген не знал, как от нее отделаться.

* * *

Сэр Керью В. Минчет, королевский прокурор, скрестил на груди свои тонкие белые руки. Он умолк и, словно во время молитвы, наклонил голову, предоставив присяжным любоваться безукоризненными локонами своего парика. Затем, подняв голову, он произнес:

— Леди и джентльмены, господа присяжные, я вполне представляю себе ваше замешательство.

Конечно, ни у кого не может быть сомнений в том, что обвиняемый совершил преднамеренное убийство. Мы полагаем, даже защита не попытается отрицать этот факт.

Правда, она сделала все возможное, чтобы посеять сомнение в ваших умах относительно самой природы жертвы. Желая добиться оправдания обвиняемого, она профанировала одну из наших судебных традиций, наиболее дорогую нашему сердцу, наиболее прочно вошедшую в наши обычаи: традицию «разумного сомнения».

Именно это и обязывает нас спросить: существует ли действительно основание для разумного сомнения в природе жертвы? Если вам кажется, что таковое сомнение существует, поверьте мне: это всего лишь иллюзия.

Правда, защите удалось внести невообразимую путаницу в существо вопроса, она вела дебаты сразу на двух фронтах, в двух совершенно различных планах: в плане юридическом, законном, и в плане зоологическом; и она с завидной ловкостью перепутала все нити.

Итак, леди и джентльмены, в чем же заключается ваш долг? Должны ли вы разобраться в самом факте убийства или же решать ученые споры?

Здесь перед нами выступали профессора и виднейшие ученые. И вы сами убедились, что они не могут договориться между собой даже в вопросе, что́ есть человек. Неужели же вам надлежит объяснить им это? Неужели же вам решать их споры?

Конечно, вы можете меня спросить: не вы ли первый вызвали профессора Наача? Действительно, это так. Но можно было не сомневаться в том, что защита вызовет в суд ученых, которые будут доказывать уже известный вам тезис. Их необходимо было опередить, иначе вы, чего доброго, поверили бы им.

Но что дали нам, в сущности, все эти споры? Для себя вы можете извлечь лишь одно: от вас требуют, чтобы вы

знали больше, чем эти ученые. Но разве это входит в вашу обязанность, и можно ли говорить о сомнении, *«заложенном в самих фактах»*, лишь потому, что вы знаете не больше, нежели ученые мужи? Только потому, что вас запутали слишком сложными и непонятными для вас аргументами? Нет, вы собрались здесь не для того, чтобы выяснять специфичность черт той или другой зоологической классификации или установить, права ли школа, называющая Paranthropus'ом то существо, которое другая школа именует homo faber *. Вы собрались здесь для того, чтобы судить о фактах с точки зрения суда и закона.

А может ли существовать хоть малейшее сомнение именно в этом плане? Можно ли сомневаться в том, что обвиняемый преднамеренно умертвил рожденного от него ребенка, которого он сам зарегистрировал и окрестил, дав ему имя Джеральд-Ральф Темплмор?

Нет, сомневаться в этом нельзя.

Но, быть может, у вас осталось все-таки зерно сомнения? Быть может, вы считаете, что в любом случае лучше оправдать преступника, чем наказать невиновного? Быть может, вы считаете, что, коль скоро существует хоть какая-то неясность, пусть даже вызванная этими учеными спорами, все же лучше оправдать обвиняемого, будь он даже тысячу раз виноват?

Да, так бы и следовало поступить по-христиански, если бы речь шла только об одном обвиняемом. Если в результате вашей снисходительности вы отпустили бы на свободу убийцу. Но разве так обстоит дело в данном случае? Можно ли считать, что здесь решается судьба лишь одного обвиняемого? Нет, конечно, нет: это только видимость! Сейчас решается судьба тысяч, десятков тысяч, а может быть, десятков миллионов!

Леди и джентльмены, на вас лежит огромная ответственность. За всю мою практику я, пожалуй, никогда еще не чувствовал такой ответственности. Ибо ваш вердикт может вызвать в будущем последствия, несравнимые по своему значению не только с судьбой одного обвиняемого, не только с нашей судьбой, но даже с судьбой всего британского правосудия.

Представьте себе, что, поддавшись уговорам защиты, которая, конечно, не преминет осыпать вас самыми резкими

* Трудящийся человек (*лат.*).

упреками, вы послушаетесь голоса своего сердца и проявите снисходительность; желая быть справедливыми, вы сочтете, что обвиняемый, умерщвляя свою жертву, искренне верил, что убивает обезьяну; короче, представьте себе, что, стремясь оправдать подсудимого, вы признаете его невиновным! Тем самым сразу же, во всеуслышание, быть может, даже против своей воли, вы признаете, что убита была *обезьяна*,— во всяком случае, такое мнение должно будет сложиться не только у наших сограждан, но и у миллионов людей за границей, которые ждут вашего вердикта и, конечно, только так и смогут истолковать его. Таким образом, одно ваше слово навсегда исключит тропи из человеческого общества. И не только тропи, но и множество других племен, ибо, как вы сами слышали, ученые утверждают, что, признав тропи животными, будет весьма трудно доказать, что, например, пигмеи или бушмены — люди. Понимаете ли вы, что вы рискуете таким образом приоткрыть ящик Пандоры? Если в один прекрасный день, лишившись права называться людьми и, следовательно, потеряв все человеческие права, эти примитивные и беззащитные племена попадут в руки тех, кто будет их безнаказанно уничтожать и эксплуатировать, то произойдет это только по вашей вине. А мы знаем — увы! — что охотников найдется много.

И это еще только начало! Ибо, как вы тоже слышали здесь, если на основании каких-то биологических различий будет поставлена под сомнение священная сущность человеческого рода, как удержать нам разгул страстей. Вновь возродится преступная идея высших и низших рас, кошмарные воспоминания о которой еще живы в нашей памяти,— но и это еще не всё. И в этом новом несчастье будете повинны лишь вы одни! От такой перспективы содрогнутся люди более ученые, чем вы. Закон, я повторяю, не требует от вас учености. Он требует от вас мудрости. И вы без труда и риска справитесь с этой задачей; вам придется только взглянуть на дело именно с той точки зрения, с которой оно должно рассматриваться в этих стенах, то есть с точки зрения закона. Дуглас Темплмор убил Джеральда-Ральфа Темплмора, своего ребенка, своего сына. Этого достаточно. Вы должны признать его виновным.

Сэр К. В. Минчет снова скрестил, как бы молясь, свои длинные белые пальцы.

— Может быть, имеются какие-либо смягчающие обстоятельства? — добавил он.— Это уж решайте сами; но мы, к

сожалению, не видим их. Поскольку это не только преступление, но преступление к тому же преднамеренное. Возможно, совершая его, обвиняемый полагал, что поступок его принесет человечеству пользу. Но не забывайте, что врачи-преступники, творя в лагерях смерти свои ужасные опыты, тоже считали, что действуют во имя науки! Проявив снисходительность, мы таким образом из-за своей непростительной мягкости не только подвергнем опасности новых покушений подданных его величества и обречем на рабство и вымирание множество ни в чем не повинных племен, но и поощрим в дальнейшем подобные гнусные опыты, прикрывающиеся именем науки и прогресса! В конечном счете, это было бы прямым оскорблением для самого обвиняемого; возвратить ему жизнь и свободу, которыми он рисковал, совершая свой поступок, значило бы лишить этот самый поступок сомнительного оттенка благородства, если только уместно в данных обстоятельствах говорить о благородстве, которое при желании ему можно было бы приписать.

Леди и джентльмены, я кончил. К чему распространяться о вещах, и без того достаточно ясных? Пусть защита произносит длинные речи — ведь ей придется доказывать недоказуемое: что обвиняемый не убил своего сына. А он его убил. Достаточно и этих коротких слов, чтобы вынести вердикт.

Сказав это, сэр К. В. Минчет сел.

Судья, повернувшись к защите, дал слово ее представителю.

Мистер Б. К. Джеймсон поднялся и заявил:

— Согласно желанию обвиняемого, защитительная речь произнесена не будет.

Однако он не сел на место и, делая вид, что не замечает удивленно-взволнованного шепота, пробежавшего по залу, добавил:

— Защита считает своим долгом заявить, что по ряду вопросов она полностью согласна с уважаемым представителем обвинения. В особенности с той частью его речи, когда он заклинал взвесить лежащую на вас ответственность. Вообразите, говорил он, вообразите только, к каким последствиям может привести ваша ошибка! Однако мы позволим себе сделать из этого положения совсем иной вывод. Нет, нет, леди и джентльмены, вы не должны соглашаться с этим слишком упрощенным и чисто формальным предложением, которое опирается не на закон даже, а на формальность.

И на какую формальность? На простую запись в книге мэрии! Представьте себе, что в юности кто-нибудь из вас, господа, вместе с товарищами, подпоив чиновника из мэрии, заставил его, шутки ради, зарегистрировать гражданское состояние новорожденного щенка, а потом, когда пес одряхлел, вы попросили бы ветеринара отравить его, и вот теперь ветеринара приговаривают к повешению!

Это, конечно, шутка. Другие доводы уважаемого представителя обвинения гораздо более серьезны. Он предостерегал вас против последствий, которые может повлечь за собой оправдание, ибо оно признавало бы ipso facto, что тропи — обезьяны. Доводы весьма существенные. Ну, а если тропи *действительно* обезьяны? Неужели вы думаете, было бы меньшим преступлением отправить на каторгу, а может быть и на виселицу, английского джентльмена, пусть даже ради того, чтобы дать свободу двадцати пяти тысячам обезьян? Сознательно послать на смерть невинного, пойти на преступление, совершить, как это нам предлагают, вопиющую несправедливость, лишь бы не дать себе труда подумать! Как, по-вашему, можно это назвать? Это было бы преступным не только по отношению к личности человека весьма достойного, но и по отношению к нашим самым священным правам! Ибо поставить свободу и жизнь британского гражданина в зависимость не от его поступков, а от предполагаемых последствий, которые может вызвать его оправдание, значит отдать каждого из нас, связанного по рукам и ногам, на произвол властей. Кто из нас в таком случае может быть уверен в завтрашнем дне? Это значит одним ударом покончить со всеми нашими свободами!

Нет, леди и джентльмены, вы можете признать подсудимого виновным лишь в случае полнейшей уверенности в том, что он убил человеческое существо, то есть если у вас не будет никакого сомнения в том, что тропи — люди. Даже рискуя весьма удивить уважаемого представителя обвинения, мы не станем доказывать обратное. Ибо здесь мы отстаиваем не свою собственную жизнь, которая в общем так мало значит. Мы отстаиваем здесь истину. Мы не станем доказывать, что тропи — обезьяны, ибо, будь мы в этом уверены, мы не убили бы это невинное маленькое существо и не подставили бы шею позорной петле виселицы. Мы готовы ко всему. Однако мы хотим, чтобы наша смерть помогла по крайней мере выяснить то единственное, что важно для нас: не то, что может показаться полезным и нужным, а то, что

справедливо и более соответствует истине, и не в ее соминительной ясности, а в ее абсолютной очевидности! Да, мы готовы пожертвовать своей жизнью ради жизни тропи, если только удастся с полной неоспоримостью доказать, что они люди; и это разрушит замыслы тех, кто собирается обречь их на рабство. Но если тропи — обезьяны, мы еще раз заявляем, что было бы позором приговорить к смерти человека в силу совершенно неслыханного довода, что так, мол, удобнее!

Наша точка зрения совершенно ясна. Пусть ваша будет не менее ясной. Мы не просим ни милости, ни прощения, мы не нуждаемся в вашем снисхождении. Поймите нас хорошенько! Да, мы не нуждаемся в нем. Но мы требуем от вас лишь того минимума, на который вправе рассчитывать: серьезно подумать, прежде чем принять решение.

— Вот почему,— проговорил он, повернувшись к суду,— мы обращаемся к вам, милорд, с ходатайством. Мы были кратки, и суд мог бы поддаться искушению, воспользовавшись оставшимся временем, заставить присяжных вынести вердикт сегодня же...

И вдруг неожиданно для всех добавил странно равнодушным тоном:

— Так или иначе, нам кажется, им следовало бы дать ночь на размышления, это бы привело к лучшим результатам.

Судья Дрейпер озадаченно посмотрел на адвоката; взгляды их встретились: зачем защита вносит такое предложение? Ведь и так очевидно: чтобы спокойно обсудить вопрос, присяжным понадобится куда больше времени, чем у них остается... «Может быть, он хочет что-то дать мне понять... на что-то пытается намекнуть?..» — подумал судья. И первым отвел глаза. «Конечно,— подумал он,— конечно! Он прав! Им нельзя давать времени собраться с мыслями...» Он взглянул на часы и произнес:

— Суд не может принять ваше ходатайство. У нас остается еще полтора часа. Суд считает, что этого времени вполне достаточно, чтобы вынести справедливый приговор.

Сказав это, сэр Артур надел очки.

* * *

Наступило тягостное и продолжительное молчание. Только слышалось, как в переполненном зале шаркают чьи-то подошвы и кто-то глухо покашливает. Откуда-то

справа донесся шепот, но двести голов одновременно с осуждением повернулись в ту сторону, и шепот сразу стих.

Дуглас не спускал глаз с сэра Артура. С самого начала процесса он старался не смотреть на Френсис. Он заранее решил, что не произнесет ни слова, при всех обстоятельствах останется безучастным, словно его нет в зале: он хотел присутствовать здесь в качестве некоего символа. Играть эту роль оказалось нелегко, мучительно сжималось сердце. Один только взгляд Френсис, полный боли, страха, мольбы, и, кто знает, доведет ли он до конца свою роль? И уж совсем невыносимой мукой оказался запрет не видеть трогательно прекрасного лица с чересчур крупным ртом... Из этих двух пыток приходилось выбирать ту, которая по крайней мере не лишала смысла его поступок, оправдывала риск, на который он пошел. И до сих пор ему это удавалось неплохо.

У Френсис не было таких оснований сдерживать себя. Сидя между Гримом и Сибилой, она, казалось, не только слухом, но и глазами впитывала каждое слово. Иногда, схватив руку Сибилы, она до боли сжимала ее. Иногда в полном изнеможении закрыв глаза, она откидывалась на спинку скамейки. Когда сэр Артур отклонил ходатайство защиты, Френсис, чтобы не выдать своего волнения, до крови закусила губу. Но в груди у нее что-то вдруг оборвалось.

А Дуг даже бровью не повел. Как ей хотелось, о, как ей хотелось, чтобы он взглянул на нее,— хоть один раз, ну, хотя бы в эту минуту! Но они обещали друг другу: он — не смотреть на нее, а она — не искать его взгляда. Он был прав, прав! И она отвернулась.

Теперь она тоже смотрела на судью. Сэр Артур медленно надевал очки. И вот, когда он укрепил их на носу, Френсис заметила вдруг, да, заметила этот беглый, как взмах ресниц, веселый, дружеский, почти сообщнический взгляд, который скользнул по лицу обвиняемого...

— Видели? — прошептала Френсис в сильном волнении Сибиле.

— Да,— ответила Сибила,— да... похоже что...

Сибила не кончила фразы, и пораженная Френсис увидела, как она тихонько трижды постучала о деревянную обшивку скамьи.

— Вы и не подозревали, что я такая суеверная? — рассмеялась Сибила.

— Конечно, нет! — ответила Френсис.— Уж кто-кто...

— Подождите, вы еще и не то обо мне узнаете... Но взгляните на Дугласа!

Дуг, казалось, окаменел. Но если он превратился в мрамор, то мрамор пурпуровый. Он покраснел до корней волос. Губы его приоткрылись, он смотрел на судью удивленными глазами, словно перед ним предстал ангел, несущий благостную весть.

— Он тоже заметил,—прошептала Френсис.—Лишь бы...

Но Сибила в страхе сжала руку Френсис и заставила ее замолчать. К тому же судья Дрейпер уже взял слово.

— Леди и джентльмены, господа присяжные,— начал он,— в течение трех дней перед вами выступали свидетели обвинения и свидетели защиты, вы выслушали обвинительную речь, и только по желанию обвиняемого не была произнесена речь защиты. Теперь вам надлежит решить его судьбу.

Но прежде, следуя традиции, суд в нескольких словах подведет итог судебному разбирательству, дабы по возможности облегчить вам принятие трудного и ответственного решения.

Ибо оно действительно трудно и действительно ответственно. Обе стороны дали вам ясно понять, что придется серьезно подумать, прежде чем вынести окончательный приговор. Не буду возвращаться к этому вопросу. Мой долг — напомнить вам вкратце показания сторон на этом процессе; я не смогу хотя бы в какой-то степени облегчить вашу задачу: только вам, вам одним, предстоит сделать выводы из всего сказанного.

А теперь перейдем к сути дела.

К чему же, в конце концов, она сводится?

Обвиняемый, став вследствие экспериментального оплодотворения самки, принадлежащей к недавно открытому антропоморфному, то есть человекообразному, виду, став, как мы уже сказали, отцом маленького существа — гибрида, убил его.

Вам предстоит решить вопрос, совершил ли обвиняемый, таким образом, убийство.

Поступок, совершенный обвиняемым, можно назвать убийством лишь в том случае, если он полностью соответствует определению убийства, записанному в кодексе,

то есть: «убийство есть умышленное лишение человека жизни».

В данном случае вы можете признать обвиняемого виновным, если у вас не останется никакого разумного сомнения в том, что доказаны нижеследующие пункты:

1. Объект действительно убит обвиняемым.
2. Убийство совершено обвиняемым преднамеренно.
3. Объект убийства является человеческим существом.

Вряд ли у вас возникнут сомнения по двум первым пунктам: обвиняемый признает себя ответственным за свой поступок; он признает и заявляет, что совершил его преднамеренно; различные свидетельские показания подтверждают, что это действительно так.

Но третий пункт далеко не столь ясен.

Профессор Наач считает жертву человеческим существом. По его мнению, доказательством тому служит следующее: вид, к которому принадлежит жертва, помимо прямостояния, умеет обтесывать камни, добывать огонь, имеет зачаточные признаки речи. Той же точки зрения, хотя и по иным соображениям, придерживаются профессора Кокс и Хансон.

В противоположность им, профессор Итонс утверждает, что жертву нельзя отнести к человеческому роду, ибо за всю историю существования ветви, от которой произошел человек, ни один из представителей ее не имел такой стопы, как стопа жертвы.

Таково же мнение доктора Фиггинса.

Представитель обвинения пытается убедить вас, что вам не следует решать ученые споры, но в то же время не признает за вами права умыть руки, оправдав подсудимого, не принимая в расчет все те страшные последствия, которые повлечет за собой оправдание; вы обязаны, утверждает обвинение, признать подсудимого виновным в совершении преднамеренного убийства, ибо, с точки зрения закона и правосудия, этот факт не вызывает сомнений.

Однако суд не считает, что вы можете безоговорочно принять данный тезис. Напротив, он полагает, что объявить подсудимого виновным вы сможете лишь тогда, когда у вас будет твердая уверенность в том, что полностью доказано третье условие в определении убийства: другими словами, когда у вас не будет никакого разумного сомнения в том, что жертва действительно является человеком.

Никакого разумного сомнения! Это выражение не раз

повторялось во время процесса. Долг суда раскрыть вам точное значение двух этих слов.

В чем же заключается «разумное сомнение»?

При истолковании этого термина и впрямь может произойти опасная путаница.

Сомнение может корениться в самих фактах; так, обвиняемого застали на месте убийства, но виновность его не может быть доказана абсолютно точно. В этом случае, естественно, возникает разумное сомнение.

Сомнение может корениться в сознании; так, например, если присяжные не в силах разобраться в нагромождении фактов, накопленных в ходе процесса, они не могут составить ясное представление о деле в целом. Здесь, конечно, нельзя говорить о разумном сомнении. В этом случае присяжные должны потребовать все необходимые им разъяснения. И если в конце концов разъяснения эти так и не помогут прояснить суть дела, им останется лишь один выход: объявить, что они не в состоянии решить данный вопрос.

Если, на ваш взгляд, разумное сомнение лежит в самих фактах, вам ни в коем случае не следует принимать в расчет любые возможные последствия, какими бы ужасными и грозными ни рисовало их вам обвинение: вы должны будете признать обвиняемого невиновным.

Но если же, наоборот, вы решите, что сомнение лежит не в самой природе фактов, а в *вашем* понимании этих фактов, я буду вынужден согласиться с доводами обвинения: если бы речь шла только об одном обвиняемом, только о том, чтобы ввиду имеющихся сомнений отнестись к нему со всем христианским милосердием, против этого мы не стали бы возражать, но в данном случае снисходительный приговор может вызвать слишком тяжелые последствия, и ваш долг — долг людей гуманных — помнить об этих ужасных последствиях. Но и суровый приговор, вынесенный, несмотря на сомнение, закравшееся в вас, столь же неприемлем. В самом деле, вы бы создали не менее опасный прецедент для будущего нашего правосудия: потому что, послав на смерть, возможно и невинного, человека, осужденного не за совершенное им преступление, а только в силу предполагаемых последствий, в плане политическом или социальном, которые могло бы повлечь за собой оправдание, вы таким образом подорвали бы самые основы правосудия нашей страны.

После короткой паузы судья продолжал:

— Резюмирую вышесказанное. Мы, как и обвинение, считаем, что в самих фактах у нас не может быть сомнения, факты остаются фактами, тропи остаются тропи. Их природа — факт, от нас не зависящий. Мы считаем, так же как и обвинение, что сомнение, если таковое и существует, вызвано вполне понятным замешательством, внесенным в ваши умы спорами ученых. Следовательно, так же как и обвинение, мы считаем, что сомнения такого рода не могут расположить нас в пользу бездумной снисходительности, не считающейся с последствиями.

Но зато мы полагаем — на сей раз так же, как и защита,— что вы сможете, не покривив душой, осудить обвиняемого, будучи лишь твердо уверены, что доказаны полностью все три пункта, определяющие убийство.

Прежде чем высказаться за или против, необходимо предварительно решить для самих себя вопрос о природе жертвы — обезьяна она или человеческое существо.

Только тогда, когда у вас не останется никаких сомнений на этот счет, вы сможете принять то или иное решение.

Иначе, каким бы ни был ваш приговор, вы рискуете совершить трагическую и кровавую ошибку.

Вновь последовала пауза, затем сэр Артур продолжал:

— Теперь, леди и джентльмены, вам известна суть дела. Вам остается лишь ответить после совещания «да» или «нет» на вопрос, который вам будет задан: «Виновен ли подсудимый?»

Судебный исполнитель, соблаговолите провести присяжных в комнату для совещаний. Объявляю перерыв.

Он поднялся и, выйдя из зала, с облегчением снял надоевший парик, под которым невыносимо горела голова. И в ту же минуту публика, с облегчением нарушив тягостное молчание, зашумела, как морской прибой, бьющийся о скалы.

* * *

Когда заседание возобновилось, присяжные вновь предстали перед судом. От имени своих коллег председатель присяжных попросил у суда кое-каких разъяснений. Лицо его было почти такое же белое, как и маленький листок бумаги, дрожавший в его руках.

— У нас нет разногласий по основному вопросу,— начал он,— то есть по вопросу... о преступлении. Здесь сомнений

нет. Остается решить только одно, как вы сами изволили указать: люди тропи или нет? А вот этого-то как раз мы и не знаем.

— Вполне естественно,— ответил сэр Артур.— Что же дальше?

— Так вот... Не мог бы суд нам сказать, что он сам думает по данному вопросу.

— Нет, это невозможно. Обязанность суда — уточнять отдельные факты и правовые вопросы. Но он не может иметь своего мнения по существу вопроса; если бы даже он имел собственное мнение, то по закону не имеет права сообщить его вам.

Председатель присяжных — высокий худой старик с вьющимися вокруг маленького багрового блестящего черепа седыми кудрями — свирепо подвигал челюстями и наконец заговорил:

— Вот мы подумали, что если бы, по крайней мере... если бы суд нам просто напомнил... то... стало быть... определение человека, общепринятое определение человека, ну, хотя бы то, которым пользуются вообще, стало быть, законное определение, юридическое... если это... конечно, не выходит за пределы обязанностей суда?

— Нет,— ответил, улыбаясь, судья.— Но для этого нужно, чтобы такое законное определение существовало. Возможно, это покажется невероятным, но такого определения действительно не существует.

Некоторое время старик тупо молчал, а затем переспросил:

— Не существует?

— Нет.

— Но ведь это невозможно...

— Суд согласен, что это странно, и мы уже высказались по данному вопросу; хотя, в сущности, это вполне соответствует духу нашей страны. Во всяком случае, таковы факты.

— И такого определения нет ни в Англии, ни в других странах?

— Нигде. Даже во Франции, где все определено и узаконено, где предусмотрен даже вопрос о том, кому принадлежит яйцо, снесенное моей курицей во дворе соседа.

— Невероятно,— произнес старик присяжный, помолчав минуту.— Выходит, что все определено и узаконено, даже самые мелочи... кроме... стало быть, нас самих.

— Совершенно справедливо,— ответил судья.

— Но, неужели... с тех пор как существуют люди, никогда?.. Подумали обо всем... все определили и узаконили, за исключением?.. А не значит ли это, что люди вообще ни о чем не подумали? Просто начали с конца?

Судья улыбнулся. Он беспомощно развел руками.

— Потому что,— продолжал присяжный,— если мы не знаем... точно... я хочу сказать, если уж мы не договорились между собой... по крайней мере... даже о нас самих... как же мы можем, черт возьми, тогда понимать друг друга.

— Возможно, именно поэтому,— согласился судья,— мы так плохо и понимаем друг друга. Но мы уклоняемся в сторону, а время уходит.

— Прошу прощения, милорд,— продолжал старик.— Но право... стало быть... даже вот для нашего решения... разве это не ужасный пробел?

— В вашей власти его заполнить,— заметил судья.

— Как, в нашей?

— Боюсь, что, не заполнив существующий пробел, вы не сможете здраво разобраться в этом деле; чтобы определить природу тропи, надо сначала дать определение самому человеку.

— Но если никто никогда не сделал этого до нас, как же мы-то сможем, милорд, мы... Пусть нам по крайней мере помогут!

— Суд для того и существует, чтобы отвечать на ваши вопросы.

— А когда я вас спрашиваю, вы отвечаете, что сами не знаете!

— Суд существует для того, чтобы напомнить вам все, что говорилось здесь по данному вопросу, и чтобы объяснить вам то, чего вы не поняли.

— Но,— с раздражением возразил старик присяжный,— мы прекрасно помним все, что здесь говорилось и, мне кажется, достаточно хорошо поняли все. Дело в том, что... если бы только, стало быть... все эти профессора пришли к какому-нибудь соглашению... Но они только бранились друг с другом... Как же вы хотите, чтобы мы... мы...

— И тем не менее вам придется это сделать,— ответил судья.— И даже, представьте себе, сделать безотлагательно: приговор должен быть вынесен через сорок минут, если вы не хотите завтра начинать все сначала.

Присяжных провели в комнату для совещаний. Старик председатель, выходя из зала, сокрушенно покачивал се-

дыми кудрями. Когда через двадцать минут старик вошел в зал, он все с тем же сокрушенным видом качал головой.

— Мы не пришли к определенному мнению,— заявил он.— Мы только еще сильнее запутались. Чем больше мы спорим, тем труднее нам принять решение. Двое — за, трое — против, остальные ничего не говорят. Я и сам-то совсем растерялся.

— И все-таки вы должны настоять, чтобы ваши коллеги вынесли решение,— сказал судья.— Сегодня в вашем распоряжении еще десять минут.

По истечении последних десяти минут старый председатель появился снова, на сей раз уже в сопровождении всех присяжных.

— Мы решительно решили, что мы ничего не можем решить,— заявил он и умолк.

Судья тоже молчал.

— Наверное, вам просто не хватило времени? — заговорил он наконец.— Мы можем вам дать для размышлений ночь. Вас удобно разместят, накормят...

— Совершенно бесполезно,— отрезал старик председатель.— Мы решили окончательно.

— Ничего не решать?

— Ничего не решать. И заявляем, что мы не в состоянии решить этот вопрос.

Несколько минут все молчали. Наконец сэр Артур произнес:

— Суд сожалеет, но при данных обстоятельствах ему придется освободить присяжных от возложенных на них обязанностей. Судебный процесс переносится на следующую сессию с новым составом присяжных. Заседание окончено.

Лишь когда судья вышел из зала, присутствующие поняли, что произошло. Сначала в зале воцарилось растерянное молчание. Но потом затишье сменилось бурей. Только уважение к этим древним стенам умеряло рокот человеческих голосов. Люди вскакивали с мест, что-то спрашивали друг у друга сдержанным, но полным досады и возбуждения голосом. Френсис тоже не могла усидеть на месте. Через головы людей она старалась поймать взгляд Дуга, которого минуту назад привели выслушать приговор и теперь уже уводили обратно. Ей удалось встретиться с ним глазами. И он, словно боксер, вышедший победителем на ринге, подняв обе руки, радостно приветствовал свою Френсис.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Волнение лорда хранителя печати, равно как и владельцев английских ткацких фабрик. «Tropi or not tropi? * Вот в чем вопрос». Судья Дрейпер предлагает передать дело в парламент. Как обходят одну из самых славных традиций. Создание комиссии по изучению вопроса. Противоречия в комиссии. Угроза провала. Положение осложняется. Польза взаимопротиворечивых мнений. Мучительное признание Френсис. Солидарность всего человеческого рода. Основное различие между человеком и животным. Молчание устраивает.

Сэр Артур Дрейпер ждал, что его вызовут. От кого последует вызов: от министра внутренних дел? Или, может быть, от генерального прокурора? Оказалось, что его просто попросил заглянуть в клуб лорд хранитель печати — министр без портфеля.

Пересекая Грин-парк, сэр Артур думал: «Стало быть, речь пойдет обо всем, кроме правосудия. С одной стороны, это меня даже устраивает...» И далее: «Не придется, по-видимому, объяснять ему, как, действуя, откровенно говоря... не совсем по форме, я фактически сорвал процесс и привел присяжных в полное замешательство. Напротив, он сам, по всей вероятности, собирается попросить меня о чем-то. И попросить, конечно, о чем-то не совсем официальном... Так что козыри в моих руках. Но сумеешь ли ты пустить их в ход, старина? Ты ведь никогда не был силен в дипломатии...»

Лорд хранитель печати не заставил себя долго ждать. Он весело приветствовал сэра Артура дружеским «Хэлло!» и, фамильярно похлопав его по спине, провел в зал. Они уселись в укромном уголке. После нескольких любезных вступительных фраз министр протянул судье кипу газет.

— Вы уже просмотрели иностранную прессу?

Сэр Артур отрицательно покачал головой и не без интереса прочел напечатанный огромными буквами заголовок в «Чикаго дейли пост»: «Tropi or not tropi? Вот в чем вопрос». Автор статьи весьма саркастически кратко изло-

---

* Тропи или не тропи? *(англ.)*

жил ход судебного разбирательства и подверг резкой критике британский формализм и британское правосудие, которое в силу полнейшего отсутствия гибкости заходит в тупик при любом выходящем за обычные рамки судебном разбирательстве. Французская газета «Паризьен» поместила статью под названием «Тропы и тропы британского правосудия». В ней, правда, в более игривом и не столь насмешливом тоне развивалась все та же мысль. Однако, обращаясь к читателю, она с нескрываемым юмором добавляла: «А как поступили бы вы на месте присяжных?» Пражское «Руде право» в статье под ироническим заголовком «Буря в умах двенадцати» приводила бесконечное множество нелепых вопросов: «Кого бы вы стали спасать во время кораблекрушения: мать, жену или дочь, если бы могли спасти только одну из них? Вот какие нравственные проблемы ставит буржуазное правосудие перед несчастными присяжными...»

Но ни одна из газет, казалось, не заметила тонкого маневра старого судьи.

Сэр Артур молча положил газеты на стол и вопросительно взглянул на министра.

— Неужели действительно было невозможно,— начал министр,— добиться определенного решения?

Судья ответил, что, как известно, по английским законам нельзя заставить присяжных помимо их воли вынести решение.

— Но... вы действительно... сделали все возможное? — спросил министр.— Вы действительно использовали все свое влияние?

— В каком плане? — осторожно осведомился сэр Артур.

— Ну, чтобы добиться от них решения.

— Решения, но в каком именно плане? — повторил судья.

Министр нетерпеливо пошевелился в кресле.

— Не мне, конечно...

—И не мне,— сказал сэр Артур.— Если судья не может сохранить беспристрастность, то к чему тогда институт присяжных? Это было бы просто оскорбительно для сознания и чести британских граждан. Пусть уж французское судопроизводство считает своих сограждан слабоумными; вы, надеюсь, не одобряете их закона, принятого правительством во время немецкой оккупации, по которому судья сам руководит совещанием присяжных?

— Конечно, нет! — живо отозвался лорд хранитель печати.— Однако... И все-таки это очень неприятная история,— добавил он, взяв в руки пепельницу и разглядывая ее с преувеличенным вниманием.— Но наши-то газеты вы, по крайней мере, читали?

— Нет, только просмотрел. К тому же судья не может считаться с общественным мнением.

— Общественное мнение возбуждено... даже слишком возбуждено... Пожалуй, не следовало бы... Что, по-вашему, произойдет в следующий раз? С новым составом присяжных?

— А что, собственно говоря, может произойти? — спросил сэр Артур.— Вероятнее всего, то же самое.

— Это невозможно! — воскликнул министр.

Сэр Артур развел руками и мягким движением опустил их на колени.

Последовало довольно продолжительное молчание, министр, очевидно, решил на этот раз повести атаку с другого фланга.

— Вчера у меня был мой коллега из министерства торговли,— начал он.

Сэр Артур слушал с видом вежливого внимания.

— Он сказал мне... конечно, все это между нами... Он сообщил мне... я говорю вам это только в порядке информации... само собой разумеется, ваши обязанности... вы не можете принимать в расчет... но, в конце концов, все-таки лучше, если вы будете знать... Повторяю... только в порядке информации... Этот вопрос очень волнует определенные круги.

Министр с задумчивым видом повертел в руках пепельницу.

— Нельзя не учитывать... Особенно когда такая серьезная опасность угрожает процветанию одной из крупнейших отраслей нашей промышленности... Вам, вероятно, известны,— добавил он, подняв, наконец, глаза на сэра Артура,— кое-какие планы австралийцев относительно тропи?

Сэр Артур утвердительно кивнул головой.

— Поистине счастливое совпадение, что... что интересы нашей прославленной во всем мире текстильной промышленности не находятся в противоречии с... с точкой зрения прокуратуры,— продолжал министр.— С точкой зрения гуманной, не так ли? Именно гуманной. Но если бы даже... если

бы даже ваша беспристрастность помешала вам полностью разделить эту точку зрения... было бы во всех отношениях крайне желательно,— вы согласны со мной? — чтобы тропи раз и навсегда признали человеческими существами?

Сэр Артур ответил не сразу.

— Что же, это было бы возможно,— проговорил он наконец.

Он умолк и молчал довольно долго.

— Да, было бы возможно,— повторил он.— Но только при одном условии...

Он замялся, и министр энергичным движением руки, плохо скрываешим его нетерпение, дал понять, что ждет продолжения.

— При том предварительном условии, что все поводы для сомнений будут уничтожены.

— Я вас не понимаю,— сказал министр.

— Если даже новый состав присяжных,— начал сэр Артур,— если даже новый состав присяжных и признал бы подсудимого виновным (хотя в настоящее время это мало вероятно), что бы это доказало? Лишь то, что *по закону* подсудимого считают виновным в убийстве собственного сына. Но вопрос о природе его сына по-прежнему оставался бы открытым. Равно как и вопрос о тропи в целом. Мне кажется, это не привело бы к желаемым результатам.

Министр выжидающе посмотрел на сэра Артура.

— Обвиняемого отправили бы на виселицу или на каторгу,— продолжал судья,— но что помешало бы компании Такуры использовать тропи в качестве рабочего скота на своих ткацких фабриках? Разве только пришлось бы начать новый процесс, еще более запутанный, чем этот. Да и кто бы его затеял?

— Ну, а вы что предлагаете?

Сэр Артур сделал вид, что ответить сразу на этот вопрос не так легко:

— Я думаю, для того чтобы добиться решения, и к тому же решения, которое бы дало положительные результаты, надо было бы... надо было бы, чтобы это решение строилось на совершенно определенной, не вызывающей никаких сомнений основе.

— Согласен,— отозвался министр.— Но на какой?

— На той, которую тщетно пытались найти присяжные.

— То есть?

— На узакоиением, ясном н точном определенин человеческой личиости.

Мииистр широко открыл глаза. Накоиец после минутиого колебаиия спросил:

— Но... разве оно не существует?

— Как раз этот вопрос,— сдержанио улыбаясь, ответнл сэр Артур,— задалн мне сбнтые с толку присяжиые.

— Прямо не верится! — восклнкиул министр.— Неужели же это возможно?

— Подобного рода определения не англнйская добродетель... Скорее оии вселяют в иас ужас.

— Вы правы... ио я хотел спросить: иеужели возможио, что фраицузы... нли немцы, друг мой, даже немцы?.. Трудио поверить, что немецкие учеиые писали свои философские труды о чем-то таком, чему они предварительно не далн определеиия.

Сэр Артур улыбался.

— Все это ставит иас в весьма затрудиительиое положенне,— добавил мииистр,— во всяком случае, теперь. Что же делать? Как, по-вашему, можио добиться...

— По моему мнеиию,— ответил сэр Артур,— следовало бы передать этот вопрос в парламеит.

Глаза миннстра заблестели. Накоиец-то эта надоевшая история попадала в его родиую стнхию. Но ои тут же досадливо поморщился.

— Вы же сами сказали: подобиый вопрос приведет в ужас иаших милейших депутатов. Определеиие!.. Ясиое и точное! Определеиие человека! Да никогда нам ие добиться...

— Как знать? Вы же видели, как отнеслнсь к этому присяжные во время процесса? Вспомиите свою собствеиную реакцию. Самое иевероятное во всей этой истории, что даже мы, англичане, чувствуем себя обязаниыми, преодолев свой иистиинтивиый ужас...

— Вы шутите, господин судья,— с тоикой улыбкой возразил мииистр.

— Никогда не позволю себе...

— Так вы говорите серьезио?

— Вполие серьезно. Необходимость в подобном определении давно назрела, и даже британский парламеит, по моему миеиию, согласнтся взять на себя этот труд.

Министр ответил не сразу, ои, очевндно, обдумывал слова собеседника.

— Возможно, вы и правы, в конце концов... Словом, никто не удивится... если кто-нибудь... желательно из членов нашей партии... обратится в парламент с запросом... и упрекнет нас в том... что мы позволили высмеять...

Покусывая губу, он рассеянно улыбался. Казалось, он совсем забыл о сэре Артуре. И вспомнил о нем, лишь когда тот заговорил:

— Только, господин министр, не следует связывать обсуждение в палате общин непосредственно с процессом. Вы, конечно, знаете, что, пока дело находится sub judice, нельзя начинать политическую дискуссию, которая сможет так или иначе повлиять на приговор.

— А, черт!.. Но в таком случае... это же все меняет...

— Почему же? Надо только принять необходимые меры предосторожности.

— Значит, мы можем рассчитывать на ваши советы?

— Господин министр, я и мысли не допускаю, что более сведущ в юридических науках, чем господин генеральный прокурор или же...

— Конечно, конечно, но они слишком заняты. Итак, решено: вы будете руководить нами.

Он встал. Судья последовал его примеру. Молча прошли они по мягкому ковру. Вдруг министр спросил:

— Скажите... а адвокат — член парламента?

— Мистер Джеймсон? Конечно,— ответил судья.

— Как вы думаете, а нельзя от него ждать,— сказал министр,— каких-либо... выступлений, которые могли бы затруднить...

— Не думаю,— возразил судья, улыбаясь.— Наоборот, если ловко взяться за дело, мы, вне всякого сомнения, найдем в нем союзника.

Министр остановился. Широко открыл глаза, наморщил лоб.

— Но...— начал он в замешательстве,— не следует заблуждаться... Если, как мы надеемся, тропи окончательно признают людьми... ведь это значит, что его подзащитного тогда повесят?

— Не надо так говорить, господин министр,— сказал сэр Артур,— не надо так говорить, но... мне кажется, что при всех условиях... обвиняемый не слишком рискует.

И, еще раз улыбнувшись, добавил:

— Если только адвокат его не окажется последним глупцом.

* * *

Нельзя было предоставить столь важным событиям идти своим ходом.

Поначалу все шло гладко: в палате общин с запросом к правительству обратился молодой депутат, говоривший с безукоризненным оксфордским произношением; он разразился по адресу правосудия целым потоком острот, эпиграмм и цитат, позаимствованных из Шекспира и библии.

Ввиду отсутствия министра внутренних дел на запрос с достоинством, но и не без юмора ответил лорд хранитель печати. Он смело встал на защиту суда его величества; доказав, что ни в одной другой стране суд не смог бы удачнее справиться с подобной задачей, он попутно высмеял глупость прессы, которая не разглядела даже того, что прямо-таки бросалось в глаза: отсутствия в международном праве точного определения *Человеческой личности*.

Тогда молодой интерпеллянт спросил, что́ собирается предпринять правительство, дабы помешать одной и той же причине бесконечно порождать одни и те же следствия.

Министр в своем ответе показал, что вопрос этот не застиг правительства врасплох и что оно уже успело обдумать вопрос. Оно пришло к заключению, сообщил он, что парламент вполне компетентен заполнить сей удивительный пробел. Правительство предлагало создать специальную комиссию и поручить ей выработать с помощью ученых и юристов законное определение Человеческой личности. Тут на господина министра снизошло вдохновение, и он произнес блестящую речь.

Он сказал, что Великобритания, явившая миру образец демократии, должна теперь взять на себя эту высокую миссию и заложить первый камень величественнейшего монумента.— В самом деле,— продолжал он,— вообразите только, какие последствия повлечет за собой подобное определение и подобный статут, когда в один прекрасный день они выйдут за рамки британского свода законов и будут внесены в международное право! Ведь, установив законом сущность Человеческой личности, мы тем самым определим и все обязательства по отношению к этой личности, поскольку то, что явится угрозой для нее, будет грозить и всему человечеству в целом. Впервые все права и взаимные обязанности людей на всех широтах, во всех странах, людей различных социальных групп, обществ и наций, независимо от ре-

лигнозных убежденнй, будут определяться не отдельнымн утилитарными, а следовательно, недолговечиыми соображениямн, не философскнми, а следовательно, спорнымн теорнями и не пронзвольиыми, а следователыю, непостоянным н изменчивымн традициямн (ие говоря уже о безумных и слепых страстях),— впервые нх будет определять сама прнрода Человеческой лнчностн, те, не вызывающие ннкакнх сомнений особенностн, которые отличают Человека от Животного.

И в самом деле, разве мало таких случаев, когда то, что счнтается преступленнем у одного народа, не является таковым для его соседа илн противника? А иногда даже может счнтаться долгом нли делом чести, примером чему служат нацнсты? И стонло ли вообще создавать в Нюриберге Новое Право, если сама основа, на которой строились принципы Нюрнбергского устава, уже тогда призиавалась ие всеми? Если сегодня друзья осуждеиных, прикрываясь немецкими традициями, пытаются ннзвести эти прииципы нз высокой категории Общечеловеческих до уровня позорного Права снльных, а мы не в состоянин сразить иепререкаемой очевидиостью их гнусных заблуждений? Вот почему приицнпы Нюрнбергского устава, вопрекн возлагаемым на них надеждам, иачниают постепеиио растворяться во мраке, н во мраке этом куются новые преступлеиия.

И вот, возможно, само провидеиие избирает иас, члеиов палаты общин парламента его велнчества (если, конечно, мы чувствуем себя в состояиии справиться с подобной задачей), дабы мы дали вечио враждующему человечеству столь иеобходимое закоиное основополагающее определеиие того, что отличает Человека от Животного. Определеиие это не подкрепит и не отвергиет другие существующие ныне политические, философские или религиозиые концепции, которые даже в тех случаях, когда оии противоречат нли взаимоопровергают друг друга, являются — да, да, являются — ответвлеииями одного и того же дерева. Ииымн словами, наша священная обязаииость дать этой какофоиии тот едииственииый ключ, который превратит ее в снмфонию!

Он возвысил голос:

— Отныне сей ключ в наших руках. Вступив в обладаиие им, мы, возможно, растеряемся, возможио, даже будем неприятно поражены, нбо, иа первый взгляд, все это идет вразрез с нашимн привычками, с обычиым иашим благо-

разумней. Но перед величием задачи должно отступить малодушие и, как сказал Шекспир:

> Когда б традициям во всем мы подчинялись,
> Вовек не вымести бы нам времен античных пыль,
> Гора ошибок выросла б до неба
> И заслонила истину...

Речь была оценена по заслугам, и министр, обратившись к спикеру, попросил его поставить предложение правительства на голосование, однако спикер, прежде чем перейти к голосованию, спросил, как того требовала формальность, нет ли у кого-нибудь возражений.

Тогда поднялся мистер Б. К. Джеймсон.

— Инициатива правительства,— сказал он,— делает ему честь, и, как простой британский гражданин, я могу лишь поздравить его с принятием подобного решения. Но я не только парламентарий, я адвокат. И в данных обстоятельствах не просто адвокат, но адвокат, как вам известно, взявший на себя защиту Дугласа Темплмора. Таким образом, по счастливой случайности моя душа стала сейчас ареной тех споров, в которых, как мне кажется, должен принять участие и весь парламент. Ведь если мы примем закон, определяющий Человеческую личность, в то время как обвиняемый еще находится sub judice, то определение это, бесспорно, окажет влияние, и немалое, на решение присяжных, а следовательно, и на судьбу обвиняемого. Не противоречит ли это нашим законам и не благоразумнее ли нам подождать окончания настоящего процесса?

Министр внутренних дел ответил, что он не разделяет этого мнения.

— Мы не собираемся,— сказал он,— решать в настоящее время какие-либо вопросы, касающиеся природы тропи. Речь идет только об одном: об определении Человеческой личности. Если же данное определение и окажет впоследствии свое влияние на ход процесса, то лишь косвенным образом, подобно тому как пограничная линия, намеченная во время подготовки мирного договора, может в дальнейшем косвенно повлиять на исход тяжбы о границе, разделяющей два смежных владения. Но совершенно очевидно, что вряд ли стоит откладывать подготовку мирного договора до окончания этой тяжбы.

К тому же официальное определение Человеческой личности — проблема, имеющая не только национальное, но

и международное значение, и хотя, бесспорно, этот необычный процесс заставил нас ускорить ее решение, она сама по себе гораздо шире!

Он спросил у спикера, продолжает ли мистер Джеймсон настаивать на своих возражениях. Тот ответил, что, напротив, как адвокат и как парламентарий он рад признать убедительность аргументов министра и уверен, что и его клиент разделяет это мнение. Однако, добавил он, по его мнению, комиссия не должна носить официальный характер, что поможет впоследствии парламенту избежать возможных упреков. Ему кажется, что предварительное неофициальное изучение вопроса, проведенное какой-либо известной ассоциацией, хотя бы Королевским обществом, могло бы явиться той основой, на которую парламент сумеет опереться при подготовке закона.

Это предложение, встреченное поначалу одобрительно, вызвало самые оживленные споры. Один из старейших членов парламента заявил, что, поскольку понятие «Человек» включает плоть и дух, определить его основные особенности лучше всего могут духовные и светские пэры в палате лордов. Другой член парламента, исходя из того, что речь идет об определении чисто юридическом, считал наиболее разумным обратиться непосредственно в адвокатуру. Еще один депутат утверждал, что это дело короля, ведь существует для чего-то его личный совет. Третий предлагал передать дело колледжу антропологов, четвертый — колледжу психологов, а пятый даже посоветовал Би-би-си устроить референдум. В конце концов спикер предложил обратиться к обществу, которое объединяло виднейших представителей всех перечисленных областей наук, а именно: Королевскому колледжу по изучению вопросов этики и религии. Повернувшись к депутату сэру Кеннету Саммеру, он осведомился, считает ли тот возможным попросить это прославленное общество, одним из самых почетных членов коего является он сам, назначить нескольких джентльменов для изучения данного вопроса, и в знак согласия сэр Кеннет Саммер два или три раза медленно кивнул головой.

Но лорд хранитель печати заметил, что, по его мнению, было бы нежелательно держать парламент в стороне от участия в работах. Он предложил, чтобы в эту группу, которая должна оставаться неофициальной, включили несколько членов парламента, назначенных в частном порядке различными фракциями. Мистер Б. К. Джеймсон, к которому он,

казалось, обращался в первую очередь, с улыбкой выставил вперед обе ладони, как бы желая показать, что он присоединяется к мнению оратора.

И сэр Кеннет Саммер мог вскоре сообщить парламенту об образовании «Комиссии по изучению характерных особенностей человеческого рода с целью создания законного определения человеческой личности». В дальнейшем для большего удобства группу эту стали именовать просто «Комиссия Саммера» по имени ее председателя. Сэра Артура Дрейпера попросили принять участие в работе комиссии, помочь юридическими советами, и, кроме того, его присутствие уже как бы гарантировало законность создаиной комиссии. Было решено, что заседания комиссии будут происходить по вторникам и пятницам в знаменитой библиотеке Королевского колледжа по изучению вопросов этики и религии, где раньше находился читальный зал Сесиля Родса.

И вот тогда-то все и началось...

* * *

Оказалось, что у каждого из членов комиссии имеется по этому вопросу своя более или менее твердая точка зрения, каковая и отстаивалась ими с пеной у рта. Старейшина, которого попросили высказаться первым, заявил, что, по его мнению, лучшее из возможных определений уже дано Уэсли. Уэсли, напомнил он, указал, что нельзя считать Разум, как то обычно делают, отличительной особенностью человека. И в самом деле, с одной стороны, никак не назовешь глупыми многих животных, а с другой — вряд ли свидетельствуют о мудрости человека такие его заблуждения, не свойственные даже животным, как фетишизм или колдовство. Подлинное различие, по словам Уэсли, заключается в том, что люди созданы, дабы познать бога, а животные не способны его познать.

Затем слово попросила маленькая седая квакерша с детскими глазами, робко смотревшими из-за толстых стекол очков; тихим, дрожащим голосом она пролепетала, что ей не совсем понятно, как можно узнать, что творится в сердце собаки или шимпанзе, и как можно с такой уверенностью утверждать, что они по-своему не познают бога.

— Но, помилуйте! — запротестовал старейшина.— Тут нет никаких сомнений! Это же совершенно очевидно!

Но маленькая квакерша возразила, что утверждать — еще не значит доказать, а другой член комиссии, застенчивый на вид мужчина, негромко добавил, что было бы по меньшей мере неосторожно отрицать, что у дикарей-идолопоклонников есть Разум: они просто плохо им распоряжаются; их можно сравнить, сказал он, с банкиром, который доходит до банкротства, потому что плохо распоряжается своим капиталом. И все-таки этот банкир — финансист, и финансист куда лучший, нежели любой простой смертный.— «Мне кажется,— закончил он,— что, напротив, необходимо исходить именно из того положения: «Человек — животное, наделенное Разумом».

— А где же, по-вашему, начинается Разум? — иронически осведомился изящный джентльмен в безукоризненно накрахмаленных воротничке и манжетах.

— Это как раз нам и следует определить,— ответил робкий господин.

Но старейшина заявил, что если только комиссия намеревается дать такое определение Человеку, в котором будет отсутствовать идея бога, он, в силу своих религиозных убеждений, не сможет принимать дальнейшее участие в ее работе.

Однако председательствующий сэр Кеннет Саммер напомнил, что определение, которое им предстоит подготовить, должно, как указывало правительство, удовлетворять людей самых различных убеждений. А следовательно, нет никаких оснований опасаться, что в определении будет отсутствовать идея бога; однако неправильно настаивать и на исключительно теологическом определении, ибо его не смогут признать многие агностики, и не только на континенте, но и на самих Британских островах.

Высокий плотный мужчина с роскошными белыми усами, отставной полковник, служивший когда-то в колониальных войсках в Индии и прославившийся своими многочисленными любовными историями, сказал, что его мысль, на первый взгляд, может показаться присутствующим несколько парадоксальной, но, наблюдая в течение многих лет людей и животных, он пришел к выводу, что есть нечто такое, что свойственно одному лишь человеку: половые извращения. По его твердому убеждению, человек — единственное в мире животное, создавшее, например, блестящие сообщества на основе гомосексуализма.

Но один из присутствующих джентльменов, фермер из

Хемпшира, спросил, заключается ли, по мнению предыдущего оратора, эта отличительная особенность в самом создании этих блестящих сообществ (в таком случае необходимо определить, почему именно человек создает цивилизацию), если же этот признак — гомосексуализм,— то в этом последнем случае он, к сожалению, должен сообщить уважаемому полковнику Стренгу, что однополая любовь нередко встречается у уток как среди самцов, так и среди самок.

По его мнению, добавил он, комиссия ни к чему не придет, если будет придерживаться «строго разграниченных» представлений: зоологии, психологии, теологии и т. д. и т. п. Человек — «сложный» комплекс, сказал он. Он существует лишь в своих связях с окружающими его предметами и людьми. Это окружение и определяет его, так же как и он сам определяет это окружение, и это взаимодействие, беспрестанно возобновляемое, и создает постепенно Историю, вне которой ничто не имеет значения.

Джентльмен в безукоризненных манжетах оттянул указательным пальцем, на котором сверкал бриллиантовый перстень, туго накрахмаленный воротничок и сказал, что его уважаемый коллега в своем хемпширском замке, видимо, здорово нахватался Маркса. Но если он собирается обратить в марксистскую веру не только членов комиссии, но и весь английский парламент, то пусть запасется терпением. Тут вмешалась маленькая квакерша, тихо прошептавшая, что вовсе не обязательно быть марксистом, чтобы рассуждать так, как их коллега, но что его точка зрения, хотя практически она и может показаться правильной, все равно ничего не дает. Так или иначе, придется объяснять, почему подобное взаимодействие не происходит также и у животных. Раз история Человека находится в постоянном изменении, чего нельзя сказать о Животных, значит существует же что-то особое, присущее только Человеку, что и следует определить.

Сэр Кеннет Саммер спросил, не желает ли она изложить свою точку зрения. Маленькая дама ответила, что она, конечно, желает, тем более, что у нее на сей счет имеется свое особое мнение. Человек, сказала она, единственное в мире животное, способное на бескорыстные поступки. Другими словами, доброта и милосердие присущи лишь Человеку, только ему одному.

Старейшина не без сарказма осведомился, на чем основывается ее утверждение о неспособности животных на бес-

корыстные поступки: разве не сама она только что пыталась доказать, что, возможно, они также познают бога? Джентльмен-фермер добавил, что его собственная собака погибла во время пожара, бросившись в огонь спасать ребенка. Впрочем, даже доказав, что вышеназванные чувства присущи лишь Человеку, надо еще установить, как правильно указала многоуважаемая леди, источник подобного различия.

Взяв слово, джентльмен в накрахмаленных манжетах заявил, что его лично очень мало волнует, будет или нет дано определение Человеку. Вот уже пятьсот тысяч лет, сказал он, люди прекрасно обходятся без таких определений, или, вернее, они не раз уже создавали концепции о сущности Человека, концепции, правда, недолговечные, но весьма полезные для данной эпохи и данной цивилизации. Пусть же действуют так и впредь. Лишь одно имеет значение, заключил он: следы исчезнувших цивилизаций, иными словами — Искусство. Вот что определяет Человека, от кроманьонца до наших дней.

— Но,— спросила его маленькая квакерша,— неужели вам безразлично, что целому племени, если, конечно, тропи — люди, грозит рабство или что из-за каких-то обезьян, если тропи — обезьяны, могут повесить невинного гражданина Великобритании?

Джентльмен признал, что действительно, с высшей точки зрения, ему это совершенно безразлично. На каждом шагу натыкаешься на несправедливости, и единственно, на что можно рассчитывать,— это сократить их до минимума. А для того существуют законы, традиции, обычаи, установившиеся порядки. Главное — умело их применять. И поскольку мы не в силах точно установить, что такое справедливость и что такое несправедливость, не так уж важно, будут ли законы чуточку лучше или чуточку хуже.

Джентльмен-фермер заметил, что, хотя мысль эта, конечно, спорная, лично он склонен ее принять. Однако он спросил у своего коллеги, может ли тот дать точное определение Искусству. Коль скоро, по его мнению, Искусство определяет Человека, надо раньше определить, что такое Искусство.

Джентльмен в манжетах ответил, что Искусство не нуждается ни в каких определениях, ибо оно единственное в своем роде проявление, распознаваемое каждым с первого взгляда.

Джентльмен-фермер возразил, что в таком случае и Человек не нуждается в особом определении, ибо он тоже принадлежит к единственному в своем роде биологическому виду, распознаваемому каждым с первого взгляда.

Джентльмен в накрахмаленных манжетах ответил, что как раз об этом он и говорил.

Тут сэр Кеннет Саммер напомнил присутствующим, что комиссия собралась не для того, чтобы установить, что Человек не нуждается в особом определении, а для того, чтобы попытаться найти это определение.

Он отметил, что первое заседание, возможно, и не принесло ощутимых результатов, но тем не менее позволило сопоставить весьма интересные точки зрения.

На этом заседание закрылось.

* * *

После следующего заседания члены комиссии выходили из зала уже не в столь спокойном состоянии духа. Холеные усы джентльмена в манжетах не смогли скрыть кислой улыбки, кривившей уголки его тонких губ. Старейшина был бледен, щеки его нервически подергивались. И уж не слезы ли блестели за толстыми очками маленькой квакерши? Крупные капли пота выступили на лбу джентльмена-фермера, а полковник Стренг нетерпеливо покусывал свои роскошные белые усы. Церемонно раскланявшись друг с другом, члены комиссии удалились, оставив председателя сэра Кеннета Саммера наедине с сэром Артуром, и тут сэр Кеннет не без тревоги признался судье:

— По-моему, сегодня мы сделали еще меньше, чем в прошлый раз.

Сэр Артур ответил, что и у него сложилось такое же впечатление.

Тогда сэр Кеннет сказал, что его беспокоит мысль, возможно ли вообще при столь непримиримых взглядах членов комиссии прийти к...

Сэр Артур возразил, что он лично не считает их точки зрения столь уж непримиримыми, как это может показаться на первый взгляд.

Сэр Кеннет ответил, что если даже это мнение несколько оптимистично, он все-таки рад был его выслушать, и в голосе его прозвучало явное облегчение. Хотя, добавил он, он не совсем ясно себе представляет...

— В сущности,— заметил тут сэр Артур,— это весьма отрадный признак.

— Что?.. Что я не могу себе ясно представить?

— Да нет, нет! То, что эти взгляды кажутся несовместимыми.

— Весьма отрадный признак?

— Конечно. Если бы среди членов комиссии царило единодушие, они бы в два счета состряпали определение. Неужели, по-вашему, такое определение могло бы быть приемлемым?

— А почему бы и нет? Время тут вряд ли поможет.

— Не спорю. Но определение человека, данное дюжиной британских подданных, незамедлительно пришедших к соглашению, имеет, на мой взгляд, слишком много шансов оказаться определением человека англосаксонской расы. А от нас не этого ждут.

— Черт возьми, а ведь вы правы.

— Тогда как уже сами расхождения во взглядах ваших уважаемых коллег приведут к тому, что члены комиссии — пусть в ходе бурных споров, отбросив все, что их разделяет,— оставят в конечном счете лишь то скрытое зерно, то общее, что есть во всех этих концепциях.

— Ваша правда.

— Главное, наберитесь терпения.

— Да... да... боюсь только: терпения-то мне и не хватит.

И действительно, сэр Кеннет не отличался особым терпением.

А потому постепенно, от заседания к заседанию, роли их менялись. Все чаще и чаще во время дискуссий сэр Кеннет прибегал к помощи сэра Артура. И вскоре с общего согласия сэр Артур стал фактически руководить работой комиссии.

Как раз в это время леди Дрейпер познакомилась с Френсис. Однажды старая леди сказала своей племяннице:

— А ты ловко прячешь свою подопечную.

Леди Дрейпер знала, что слова ее попадут в цель.— Уж кто-кто, а Френсис не нуждается в опеке! — вскипела племянница.

— Тогда почему же ты ее прячешь? — продолжала тетка.

— Я ее вовсе не прячу, но я решила... А разве это удобно? — спросила она.

— Что именно?

— Ну, хотя бы привести ее сюда... Дядя Артур судил ее мужа и, может быть, будет судить его опять... Вот я и спрашиваю, удобно ли...

— Но при чем тут я?

— Как при чем?

— Разве я буду судить этого простофилю, ее мужа?

— Нет, но все-таки...

— Так приведи ее завтра к чаю.

Прежде чем принять предложение, Френсис побывала в тюрьме у Дуга и посоветовалась с ним. Почему она вдруг понадобилась этой старой даме?

— Непременно пойди,— сказал Дуг.— Ясно, Дрейпер не будет меня судить. Будь у него хоть малейшее сомнение на сей счет, он не согласился бы участвовать в работе комиссии Саммера. Непременно пойди! — повторил он, вдруг воодушевляясь.— Много бы я отдал, лишь бы узнать, что думает Дрейпер, что происходит в комиссии и что из всего этого получится!

Через разделяющую их решетку Френсис молча смотрела на мужа. Потом прошептала:

— Это ужасно, любимый, но я не смею сказать тебе, о чем я думаю.

— Френсис?.. Но почему же, бог мой?

— Потому... потому что... во мне происходит такая борьба!.. Я прихожу в ужас от собственных мыслей. Да, да, в ужас. Я больна от них. И все-таки не могу не думать.

— Френсис, я никогда не видел тебя в таком состоянии. Что с тобой? Ты от меня что-то скрываешь?

Френсис совсем по-детски задорно тряхнула светлыми пушистыми волосами. И так же по-детски задорно посмотрела на Дуга блестящими, полными слез глазами.

— Ты, наверное, так же запиралась перед отцом, когда в детстве лгала ему,— ласково пошутил Дуг.

Она засмеялась, но по напудренному носику скатилась слезинка.

— Мне стыдно самой себя,— призналась она.

Дуг не настаивал. Он смотрел на нее, и в его улыбке Френсис прочла такую доверчивую нежность, что вслед за первой скатилась вторая слеза. И, шмыгнув носом, как маленькая девочка, она удержала третью. И снова засмеялась;

— Тебя это забавляет, но если бы ты только знал...
— Что же,— сказал Дуг,— я сейчас узнаю.
И все-таки она инкак не могла решиться.
— Я вовсе не такая сильная, как ты считаешь,— сказала оиа иаконец.
— Нет, снльная!
— Да... ио не такая, как ты счнтаешь.
— Ну полно,— успокоил ее Дуг.
Она смотрела иа иего через разделяющую их решетку. Оиа смотрела на него. Она смотрела на его доброе, чуть побледиевшее лицо под шапкой рыжеватых волос.
— Нет, не могу,— проговорила она с душераздирающим вздохом.— Это так... так не к месту!
— Но тебе будет еще тяжелее, если ты не скажешь мне.
— Конечно.
— Тогда я сам скажу тебе, в чем дело,— промолвил Дуг.
Оиа открыла глаза н рот, совсем как золотая рыбка в аквариуме.
— Ты перестала верить в мою правоту,— очеиь серьезно сказал он.
— Что ты говоришь! — закричала Френсис.
Обеимн руками оиа схватилась за решетку, словио собиралась вырвать ее.
— Не смей, никогда не смей так думать. О Дуг, обещай мие... Никогда! — снова крикнула она.
— От всего сердца обещаю,— сказал Дуг со вздохом облегчения.— Никогда!
— Ты знаешь, я всегда буду по-прежиему тебя любить и восхищаться тобой, что бы нн случилось, даже если оии захотят... если только... оии посмеют... утверждать, что ты... Я своими руками сплету шелковую лестницу,— сказала она, улыбаясь,— и передам ее тебе в пироге. Я убегу вместе с тобой. Спрячу тебя в пещере. Я смогу пойти даже на убийство, лишь бы защитнть тебя... Ты ведь это знаешь?
— Зиаю. Но?..
Фреисис молчала. Дуг повторил мягко, ио настойчиво:
— Но?
— Но все-таки это будет уже не то,— прошептала оиа тихо, одиако он расслышал.
— Что же измеиится?
— Я буду любить тебя так же сильно, ио любовь моя... уже не будет... такой... такой кристальио чистой.
— Ты... ты тоже будешь считать меия... убийцей?

В ответ она лишь утвердительно кивнула головой.

Дуг замолчал, ему требовалось время, чтобы все понять.

— Странно,— произнес он наконец.

И он с веселым любопытством посмотрел на Френсис, будто она сказала ему что-то очень забавное.

— А вот я нет,— добавил он.

Лицо Френсис вспыхнуло огнем надежды и ожидания.

— Ты нет? Нет? Даже если тропи — люди?

— Даже,— ответил Дуг.— Я не смогу тебе объяснить сейчас, но я уверен, что бы там ни говорили, я знаю, что убил всего лишь зверениша. Может быть, потому, что... в общем... ну вот, если бы... если бы во время войны я убил немца из Восточной Пруссии, и мне вдруг говорят: «Да, но, видите ли, теперь это польские земли — значит, вы убили нашего союзника». Но ведь я-то знаю, что это не так.

Френсис задумалась.

— Нет, это не одно и то же,— вздохнула она.

Не поднимая глаз, она медленно покачала головой.

— Твой немец был сперва одним, потом другим. А твой маленький тропи... он не был ничем. Он и сейчас еще ничто. Вот когда решат, кем он был, тем он тогда и будет.

И вдруг ее словно волной подхватило.

— Не могу больше этого выносить!..— закричала она.— Ничего не смогу с собой поделать... если только решат... если только выяснится, что тропи люди... все равно я никогда не смогу отделаться от этой мысли... Я понимаю, что это возмутительно, условно до глупости, раз... раз сам ты не изменишься. Ведь ты, ты остаешься точно таким же, но, несмотря на все... от того, решат ли люди, что ты убил обезьяну или человека, все изменится, и я... я при всем желании не смогу заставить себя думать иначе, чем они!..

— Знаешь, это даже хорошо.

— Хорошо?

— Да... хотя мне самому еще тоже не все ясно, и я, пожалуй, не сумею объяснить тебе толком, о чем я подумал. Но, во-первых, это доказывает... доказывает, что убийство как таковое не существует. То есть, не существует само по себе. Поскольку все зависит не от того, что я сделал, а от того, что по этому поводу решат люди, и в том числе я и ты. Люди, Френсис, только люди. Род человеческий. И мы так глубоко солидарны с ним, что невольно думаем так же, как и он... Мы не в состоянии думать иначе, ведь только он

может решить, что мы такое: я, ты, мы все. И мы решим это сами для нас одних — не заботясь о вселенной. Вероятно, именно поэтому я сказал «хорошо». Остальное, право же, не так уж важно. Я знаю, мне будет очень тяжело, если твоя любовь ко мне потеряет, как ты говоришь, свою кристальную чистоту... Но, в конце концов, мне следовало это предвидеть.

— Дуг, любимый...— начала Френсис, но к ним подошел надзиратель.

— Свидание окончено! — сказал он.

И пришлось отложить до следующей встречи то, что она собиралась сказать.

* * *

Трудно решить, в какой мере изменились или определились взгляды сэра Артура Дрейпера благодаря своеобразным флюидам, которые возникли между ним и Дугом через посредство обеих женщин. Отдавал ли он сам себе в этом отчет? Во всяком случае, Френсис, как и желал того Дуг, находилась в курсе всего, что происходило в комиссии от заседания к заседанию, и передавала все новости Дугу. Затем она сообщала леди Дрейпер о том, как воспринимал ее рассказы заключенный. Старая леди на досуге размышляла обо всем услышанном и за завтраком допрашивала сэра Артура.

— Вы намерены пойти сегодня в комиссию?

— Конечно.

— Долго ли еще будут эти глупые улитки с вашего дозволения ощупывать друг друга рожками?

— Но не могу же я их подгонять, дорогая.

— На днях Дуглас говорил своей жене, что на суде после выступления капитана Троппа его как будто осенило. А возможно, после выступления профессора Рэмпола, не помню точно.

— А может быть, после выступлений их обоих?

— Может быть. Френсис говорила мне, но я ничего не поняла.

— Однако оба ученых сказали то же, что и вы: у людей есть амулеты, а у животных их нет.

— Конечно. Ну и что же из этого?

— Полагаю, что Темплмор извлек из этой мысли кое-какие выводы.

— А вы?

— И я тоже.

— Такие же, как и он?

— Вполне вероятно.

— Какие именно?

Сэр Артур задумался. Как далеко сможет его супруга следовать за ходом его мыслей? Вернее даже предвосхищать их, подумалось ему, и так как он не забыл, что именно ее слова дали первый толчок его размышлениям, он пояснил:

— Отсюда вытекают два положения, взаимно дополняющие друг друга:

«Ни у одного вида животных нельзя обнаружить, пусть даже в самом зачаточном состоянии, признаков отвлеченного мышления.

Ни у одного отсталого племени нельзя не обнаружить, пусть даже в самом зачаточном состоянии, признаков отвлеченного мышления».

Не в этом ли кроется основное отличие?

— Но,— воскликнула леди Дрейпер,— ведь это то же самое, как если бы сказать: «Нет такого вида среди животных, который обращался бы к услугам парикмахера. И нет такого племени, которое не обращалось бы к услугам парикмахера (какого, это уж дело другое!)». Следовательно, человека от животного отличает то, что человек обращается к услугам парикмахера?

— И это было бы не так уж глупо, как может показаться на первый взгляд,— ответил сэр Артур.— Развив вашу мысль, можно прийти к выводу, что человек заботится о своей внешности, а животное нет. Другими словами, можно свести все это к понятиям ритуала и красоты: понятиям вполне отвлеченным. Видите ли, все сводится к тому же: человек задается различными вопросами, а животное — нет...

— Как знать? — возразила леди Дрейпер.

— Тогда давайте скажем так: человек, видимо, задается различными вопросами, а животное, видимо, не задается ими... Или же еще точнее: наличие признаков отвлеченного мышления доказывает, что человек задается различными вопросами; отсутствие же этих признаков, видимо, доказывает, что животное ими не задается.

— Но почему же? — спросила леди Дрейпер.

— Потому что отвлеченное мышление... Но, моя дорогая, вы не находите, что это ужасно скучная тема для разговора?

— Мы же одни,— заметила леди Дрейпер улыбаясь.
— И все-таки это ужасно скучно.
— Ну что же, попрошу Френсис мне объяснить. А что думают по этому поводу ваши улитки?
— Они еще не добрались до таких вопросов.
— Почему же вам тогда не пригласить к себе Рэмпола или капитана Троппа?
— Право,— воскликнул сэр Артур,— вас осенила гениальная мысль!

* * *

Когда Рэмпол и Тропп, закончив свои выступления, удалились, старейшина воскликнул:
— Разве я был неправ? Они сказали то же, что и Уэсли!
— С чего вы взяли? — спросил джентльмен в манжетах.
— Именно молитва отличает человека от животного.
— Лично я ничего подобного не слышал!
— Имеющий уши...— начал было старейшина.
— Я слышал как раз обратное. Рэмпол сказал: «Ум человека способен за внешней формой предметов улавливать их сущность. А у животных ум не улавливает даже внешней формы, он не идет дальше ощущений».
— Но Тропп опроверг это положение! — воскликнул старейшина.— Вспомните только макаку Верлена: она отличала треугольник от ромба, ромб от квадрата, кучку в десять бобов от кучки в одиннадцать!
— Возможно, мне удастся внести ясность,— мягко сказал сэр Артур.
Сэр Кеннет попросил судью примирить противоположные точки зрения.
— Сравнивая ум человека и ум животного,— начал сэр Артур,— профессор Рэмпол в общем говорил нам не столько о количественном различии, существующем между ними, сколько о качественном. Он утверждал даже, что так всегда происходит в природе: небольшое различие в количестве может вызвать неожиданные перемены, полное изменение качества. Например: можно в течение некоторого времени нагревать воду, но она по-прежнему будет оставаться в жидком состоянии. А потом в определенный момент одного градуса будет достаточно, чтобы из жидкого состояния она перешла в газообразное. Не то же ли самое

произошло и с интеллектом наших пращуров? Небольшое, может быть, совершенно незначительное количественное изменение мозговых связей заставило его совершить один из тех скачков, которые определяют полное изменение качества. Так что...

— Пагубнейшая точка зрения,— прервал его джентльмен в манжетах.

— Простите?

— Я читал нечто подобное в... уже не помню где... Но, в конце концов, это же чистейший большевистский материализм. Один из трех законов их диалектики.

— Профессор Рэмпол,— внес поправку сэр Кеннет,— племянник епископа из Кру. Жена его — дочь ректора Клейтона. Мать ректора — подруга моей матери, а сам сэр Питер — примерный христианин.

Джентльмен подтянул манжеты и с подчеркнутым интересом стал рассматривать потолок.

— Профессор Рэмпол,— продолжал сэр Артур,— указал, в чем именно заключалось это качественное изменение: разница между мышлением неандертальского человека и мышлением человекообразной обезьяны, вероятно, была количественно невелика. Но, надо полагать, в их отношениях с природой она была поистине огромной: животное продолжало бездумно подчиняться природе, человек же вдруг начал ее вопрошать.

— Да это же...— воскликнули одновременно старейшина и джентльмен в манжетах, но сэр Артур не обратил на них внимания.

— А для того, чтобы спрашивать, необходимо наличие двоих: вопрошающего и того, к кому обращены вопросы. Представляя единое целое с природой, животное не может обращаться к ней с вопросами. Вот, на мой взгляд, то различие, которое мы пытаемся определить. Животное составляет единое целое с природой. Человек не составляет с ней единого целого. Для того, чтобы мог произойти этот переход от пассивной бессознательности к вопрошающему сознанию, необходим был раскол, разрыв, необходимо было вырваться из природы. Не здесь ли как раз и проходит граница? До этого разрыва — животное, после него — человек? Животные, вырвавшиеся из природы,— вот кто мы.

Несколько минут прошло в молчании, которое нарушил полковник Стрейг, прошептав:

— Все это не так уж глупо. Теперь мы можем объяснить гомосексуализм.

— Мы можем теперь объяснить,— проговорил сэр Артур,— почему животные не нуждаются ни в мифах, ни в амулетах: им неведомо их собственное невежество. Но разве мог ум человека, вырвавшегося, выделившегося из природы, не погрузиться сразу же во мрак, не испытать ужаса? Он почувствовал себя одиноким, предоставленным самому себе, смертным, абсолютно невежественным — словом, единственным животным на земле, которое знает лишь то, что «ничего не знает», не знает даже, что оно такое. Как же ему было не выдумывать мифов о богах или духах, чтобы оградиться от своего невежества, идолов и амулетов, чтобы оградиться от своей беспомощности? И не доказывает ли как раз отсутствие у животных таких извращающих действительность измышлений, что им неведомы и страшные вопросы?

Присутствующие молча смотрели на оратора.

— Но тогда, если человек — разумный человек — и история человечества обязаны своим появлением этому отрыву, этой независимости, этой борьбе, этому отделению от природы, если, для того чтобы животное стало человеком, ему необходимо было сделать этот мучительный шаг, то как, по какому признаку, наконец, мы можем понять, что шаг этот сделан?

Ответа на его вопрос не последовало.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Каким образом твердый кристалл превращается в медузу. Законная тревога Дугласа Темплмора. Судья Дрейпер возмущается, но затем уступает. Уместное замечание профессора Рэмпола помогает вовремя решить щекотливый вопрос. Почетная традиция обойдена вторично. Английские текстильщики торжествуют.

Когда Дуглас узнал, что предложение судьи было встречено враждебным молчанием и что лорд хранитель печати снова вызывал судью в свой клуб, им овладело глухое беспокойство.

— Они провалят все дело,— сказал он Френсис, не скрывая волнения.

— Кто?

— Да эти политиканы,— ответил Дуг.— Знаю я их. Самый твердый кристалл они способны превратить в медузу.

В это самое время сэр Артур в обществе лорда хранителя печати пил старое виски в маленьком кабинете Гаррик-клаба, обставленном креслами мореного дуба с сафьяновой обивкой.

— Вы их здорово взбудоражили,— сказал министр.

— Это я и сам понимаю. Но мне не совсем ясно, что именно их волнует.

— По их словам, вы проповедуете бунт.

— Каким образом?

— Для них неприемлема сама мысль, что человек отличается от животного тем, что он противопоставляет себя природе. Как это вы говорите? Вырывается из природы.

— Но ведь мне никто не возражал.

— Возможно, и все-таки эта мысль им не по душе.

— Дело вовсе не в том, по душе она им или нет.

— Быть может, они не сумели сразу найти нужный ответ. Но мне кажется, они вправе были вам сказать: «В действительности мы вовсе не вырвались из природы. И не вырвемся из нее никогда. Мы всегда будем составной ее

частью. Каждая клетка нашего тела восстает против подобной мысли!»

— Ну и пусть себе восстает. Я никогда этого не отрицал.

— Знаю... Однако...

— Мы вырвались из природы точно так же, как тот или иной человек отделяется от толпы: от этого он не перестает быть человеком, но зато может теперь смотреть на толпу извне, избавиться от ее воздействия и разобраться во всем беспристрастно.

— Конечно, конечно, хотя, видите ли, это звучит несколько двусмысленно... И потом... вас также могут упрекнуть... ведь вы рассматриваете природу как нечто чуждое нам, почти враждебное? Но что бы мы делали, что бы с нами без нее стало?

— Почему враждебное? Это слово имеет смысл только для человека, оно неприменимо к самой природе.

— Не спорю, но все это звучит также неубедительно. Пришлось бы давать слишком много объяснений... Парламентское большинство никогда не согласится с подобными идеями... Удивительно уж и то, что под тяжестью фактов наши славные парламентарии, которым внушает ужас даже само слово «определение», пошли на создание специальной комиссии. Так не осложняйте их и без того трудную задачу. Поймите, в чем дело, дорогой мой. Возможно, вы и правы, не знаю, решать такие вопросы мне не по силам. Но в глазах парламента вы допускаете ошибку, в этом можно не сомневаться.

Судья с подчеркнутым спокойствием отхлебнул большой глоток виски.

— Вот если бы мы,— продолжал министр,— сумели ему предложить... с соответствующими комментариями, конечно... определение... которое, никого бы не шокировало и всех бы устраивало...

— Что вы имеете в виду?

Министр с минуту молча смотрел на судью и затем произнес:

— Религиозный дух.

Судья онемел.

— Я виделся с председателем,— не давая ему опомниться, продолжал министр.— Вся комиссия согласна. Даже этот слегка фашиствующий молодой человек. Как там его зовут? Конечно, эти понятия надо взять в самом широком смысле слова. Религиозный дух подразумевает

способность абстрактно мыслить, способность исследовать, жажду истины и прочее. Это понятие включает не только веру, но и науку, искусство, историю и даже колдовство, магию — словом, все что угодно. В общем то же самое говорите и вы. Только в несколько ином изложении.

— И надо сказать,— воскликнул судья,— в изложении чертовски двусмысленном. Все это пустые слова, при желании их можно истолковать в противоположном смысле.

Министр улыбнулся.

— Это... хм... это как раз и удобно...

— Но в таком случае, какую пользу принесет подобное определение? Вы ведь сами, господин министр, вспоминали о Нюрнбергском процессе. Вы ведь сами хотели, чтобы была найдена солидная база, на которой бы строилось неопровержимое право людей. Религиозный дух! Неужели вы надеетесь, что та же Россия согласится с подобным определением, какими бы комментариями мы его ни снабдили? Если бы нам предложили признать, как всеобщее, определеиие Энгельса, которое, право же, не менее точно, пошли бы мы на это?

— Дорогой мой,— возразил министр,— в порыве страсти вы говорите как римский правовед. Теоретически вы, может быть, тысячу раз правы. Но практически быть правым в политике еще ничего не значит, и вы это сами отлично понимаете. Мы должны срочно решить иекий вопрос. Этот вопрос не имеет международного значения, он касается лишь племени тропи и нашей текстнльной промышленности. Наличие религиозного духа, как я вам уже говорил,— предложение, вполне приемлемое для большинства членов английского парламента. Предложение неполное, согласен. Но ошибочно ли оно? Нет. Оно дает нам возможность проверить на практике, произошло ли с тропи именно то, о чем вы говорите, то есть вырвались ли они из природы, стали ли независимыми, противопоставили ли себя ей и так далее и тому подобиое. Не так ли?

— Да... Но как раз... А вдруг у тропи не окажется ни малейшего признака религиозного духа, тогда что? Онн не носят даже амулетов...

— По-моему, эта сторона дела не должна нас беспокоить... Всему свое время. Я виделся также с профессором Рэмполом. У него, если не ошибаюсь, есть замечания весьма разумные. Возможно, они помогут решить этот вопрос немедленно. А если мы предложим парламенту

определение, не спорю, куда более полное, менее двусмысленное, но которое вызовет бесконечные дискуссии, поправки, отклонения sine die *, мы никогда не добьемся положительного результата. Да и пользы это никому не принесет: ни тропи, ни обвиняемому, ни британскому правосудию, ни даже правам человека. Вспомните-ка пословицу: «Для того, чтобы приготовить рагу из зайца, надо иметь зайца». Не следует ускорять события, поверьте мне. Удовольствуемся тем, что можно добиться сейчас. Остальное придет в свое время. Доказательством тому вся история Англии.

Предсказание лорда хранителя печати оправдалось. На основании доклада комиссии Саммера, после небольших поправок, парламент принял статьи следующего закона:

Статья I. Человека отличает от животного наличие религиозного духа.

Статья II. Основными признаками религиозного духа являются (в нисходящем порядке): Вера в Бога, Наука, Искусство во всех своих проявлениях; различные религии, философские школы во всех своих проявлениях; фетишизм, тотемы и табу, магия, колдовство во всех своих проявлениях; ритуальное людоедство в его проявлениях.

Статья III. Всякое одушевленное существо, которое обладает хотя бы одним из признаков, перечисленных в статье II, признается членом человеческого общества и личность его гарантируется на всей территории Соединенного Королевства всеми законами, записанными в последней Декларации прав человека.

Как только закон был принят голосованием, один интерпеллянт, известный своими связями с крупной текстильной промышленностью, запросил парламент о дальнейшей судьбе тропи.

Ему ответили, что, по мнению правительства, этот вопрос не может рассматриваться сейчас в парламенте, ибо подобное обсуждение оказало бы незаконное давление на еще незаконченный судебный процесс.

* Без конца (*лат.*).

Но интерпеллянт решительно выступил против такой точки зрения.

Он спросил: «В том случае, если бы Шотландия, подобно Ирландии, решила отделиться (вещь, конечно, невообразимая), сформировала бы временное правительство и объявила себя независимой, отказался бы парламент рассматривать шотландский вопрос лишь на том основании, что в Эдинбурге не окончен еще процесс некоего мистера Макмиша, обвиняемого в оскорблении королевской власти, хотя было бы ясно, что решения, принятые за или против независимости Шотландии, могли бы значительно повлиять на судьбу уже упомянутого Макмиша?»

Он сказал далее, что убийство одного из тропи и законный статут племени тропи — совершенно разные вещи и зависят они друг от друга не более, чем судьба Соединенного Королевства от процесса какого-то шотландца. Что, напротив, парламент обязан решать этот вопрос в первую очередь с точки зрения гуманности, и лишь потом — с точки зрения экономической и национальной.

Депутат оппозиции ответил ему, что такое разделение было бы необоснованным и искусственным. Нельзя, заявил он, сравнивать второочередной вопрос о статуте племени тропи, фактически полуживотного, с обсуждением вопроса о единстве Королевства, не терпящим отлагательств. К тому же, спросил он, разве может к чему-нибудь обязать Австралию или Новую Гвинею статут тропи, принятый в Лондоне?

Но интерпеллянт напомнил, что Великобритания не раз заставляла считаться со своим мнением не только доминионы, но и иностранные государства, когда там слишком явно попирался принцип гуманности.

Что же касается срочности решения вопроса, заявил он далее, то разве может благородный человек считать спасение целого племени от рабства, которым ему открыто угрожают, второочередным вопросом?

После оживленной дискуссии было единогласно решено просить комиссию Саммера продолжить работу со специальной целью изучения вопроса о тропи. Однако было оговорено, что принятие статута тропи ни в коем случае не должно входить в компетенцию лондонского парламента. При случае он лишь выработает «проект» и представит его на рассмотрение в ООН, а также правительствам Австралии и Новой Гвинеи.

* * *

Комиссия, в состав которой вошел в качестве эксперта по вопросу психологии примитивных народов сэр Питер Рэмпол, по очереди выслушала мнение Крепса, Диллигена, Вилли, супругов Грим и прочих антропологов, имевших возможность наблюдать поведение тропи со времени их прибытия в Лондон.

Поначалу казалось, что у тропи невозможно обнаружить ни малейших признаков религиозного духа. Не говоря уж об искусстве и науках, у них не было ни идолов, ни амулетов, ни татуировки, ни танцев, ни каких-либо других ритуальных обрядов. Правда, они хоронили своих мертвецов, но точно так же, как хоронят их многие виды животных, большинство из которых зарывают даже свои экскременты, инстинктивно избегая опасности гниения или просто стараясь уничтожить свои следы. Никаких погребальных обрядов у тропи заметить не удалось.

К людоедству у них не оказалось ни малейшей склонности. Они никогда не поедали друг друга и не пытались с этой целью похитить или заманить человека. Они не покушались даже на носильщиков папуасов, к которым сразу же почувствовали антипатию.

Выслушав эти неутешительные показания, комиссия поручила сэру Питеру Рэмполу совместно с сэром Артуром тщательно изучить их и постараться, если возможно, обнаружить более обнадеживающий признак. Сэр Кеннет в достаточно туманных выражениях дал понять психологу, что было бы крайне желательным обнаружить подобный признак, конечно, не в ущерб истине.

На следующем заседании сэр Питер заявил, что, внимательно изучив сообщения ученых-антропологов, они с сэром Артуром пришли к весьма важному выводу.

— Мы имеем в виду,— сказал он,— каннибализм. Людоедство, даже в тех редких случаях, когда целью его является утоление голода или гурманство, есть не что иное, как ритуальный обряд.

К сожалению, у тропи не удалось обнаружить никакой склонности к людоедству.

К счастью, папуасы не проявили по отношению к ним такой же сдержанности: они не раз устраивали тайные пиршества, на которых ели мясо тропи.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что все эти пиршества происходили в тайне.

А раз они происходили в тайне, папуасы, видимо, либо вообще хотели скрыть это обстоятельство от белых, либо сохранить от белых в тайне обряды и церемонии, сопровождающие их ритуальные пиршества.

Естественно, папуасы не принимали бы таких предосторожностей, если бы собирались полакомиться просто дичью. Следовательно, тропоедство было для них ритуальным пиршеством, и ели они не мясо животных, но мясо людей.

Тут сэр Питер сделал эффектную паузу, а затем продолжал:

— Это лишь симптом. Мы, безусловно, не имеем оснований доверять инстинкту папуасов больше, нежели наблюдениям, которые в течение полугода вели над тропи наши виднейшие ученые.

Но в то же время мы не можем и не считаться с инстинктами папуасов. Мы должны принять их в расчет, поскольку это — инстинкты людей, которые по психологии своей гораздо ближе нас с вами к первобытным людям и благодаря этому могут скорее, чем мы, уловить в другом существе признаки примитивного мышления.

Я думаю, следовательно, что мы с вами проглядели у тропи какой-то, пусть зачаточный, признак религиозного духа, который, однако, не ускользнул от внимания папуасов.

Мы с сэром Артуром догадываемся, в чем дело. Но для окончательного подтверждения нам необходимо уточнить некоторые уже заслушанные показания.

Он добавил, что надеется получить эти сведения в первую очередь от своего уважаемого собрата, геолога Крепса.— Действительно, этот профессор,— сказал сэр Питер,— имел возможность наблюдать тропи со всей пунктуальностью ученого и в то же время без предубеждений зоолога или антрополога. Ни одно показание,— заверил он,— не может быть более объективным.

Во время следующего заседания присутствующие снова выслушали Крепса.

Сэр Питер спросил ученого, делали ли папуасы в своих набегах на тропи различие между теми, кто жил в скалах, и теми, кто жил в «загоне».

Крепс ответил, что папуасы охотились исключительно на тропи, живущих в скалах. Факт достаточно характерный, заявил он, так как прирученные тропи находились буквально под боком. Они жили почти без присмотра со сто-

роны белых, и папуасам, особенно в первое время, была предоставлена полная свобода действий.

Сэр Питер спросил далее, много ли копченого мяса обнаружили в гротах члены экспедиции, когда впервые поднялись на скалы.

Крепс ответил, что мяса там обнаружено было очень немного.

— Мы полагали,— заметил сэр Питер,— что тропи коптили его с целью сохранить на более долгий срок.

— Такого же мнения сначала придерживались и мы. Но потом убедились, что тропи не делали запасов. Когда у них возникала нужда в свежем мясе, они охотились и тут же съедали убитую дичь.

— А вы уверены, что они коптили сырое мясо?

— Абсолютно уверен,— ответил Крепс.— Нам ни разу не удалось заставить тропи хотя бы просто попробовать вареное мясо. Оно вызывает у них отвращение. Сырое же мясо их самое любимое блюдо.

— Но если они такие любители сырого мяса, то в таком случае зачем они коптят его: ведь впрок они его не оставляют?

— Откровенно говоря, я и сам этого не понимаю. Здесь действительно какая-то загадка: тропи, живущие в скалах, не желают взять в рот мяса, которое не провисело над огнем хотя бы день. То же самое они проделывали даже с ветчиной, которую мы им давали, как будто хотели удостовериться, что она тоже прокопчена по всем правилам. Что же касается тропи из загона, то они с жадностью поедали предложенное им сырое мясо, ни о чем не тревожась.

— И вы из этого не сделали никаких выводов?

— Видите ли,— сказал Крепс,— бывает, что попав в неволю, животные быстро утрачивают свои прежние инстинктивные привычки, свойственные им в диком состоянии.

— И все-таки кое-какие факты действительно могут показаться странными, особенно если их сопоставить,— сказал сэр Питер.

Во-первых, тропи предпочитают сырое мясо. Во-вторых, тропи, обитающие в скалах, вопреки своему пристрастию, коптят его, однако не с целью запаса впрок. В-третьих, прирученные тропи сразу же изменяют своим привычкам. В-четвертых, папуасы-каннибалы охотятся за первыми и не обращают ни малейшего внимания на вторых.

— Но ведь вы сами,— обратился он к Крепсу,— сказали о прирученных тропи: «Мы собрали самых бездельников»?

— Совершенно верно,— с улыбкой подтвердил Крепс.

— Поставим себя на место папуасов,— продолжал сэр Питер.— Перед ними странное племя — полуобезьяны, полулюди... Одна часть этого племени производит на них впечатление гордецов и свободолюбцев. В некоторых их привычках папуасы справедливо видят нечто гораздо более важное, чем инстинкт или пристрастие, в их глазах это примитивное поклонение огню, признание его магической власти очищения. Другая часть племени, легкомысленная и беззаботная, продает свою свободу за несколько кусков сырого мяса; предоставленная самой себе, она сразу же отказывается от тех обычаев, которым до того следовала не инстинктивно и уж, конечно, не сознательно, а просто из подражания. И наши папуасы не ошиблись: первых они сочли за людей, вторых — за обезьян.

Нам кажется, что они на правильном пути. У этого племени, стоящего на границе между человеком и животным, не все особи сумели перешагнуть эту границу. Но мы полагаем, что, если некоторые из них все же перешли грань, мы вправе требовать, чтобы весь вид был принят в лоно человечества.

— Впрочем,— признавался он потом в разговоре с сэром Кеннетом,— многие ли из нас имели бы право именоваться человеком, если бы нам пришлось перейти эту границу без посторонней помощи?..

Докладом комиссии Саммера устанавливалось, таким образом, что, поскольку у тропи обнаружены признаки религиозного духа, нашедшие свое выражение в ритуальном поклонении огню, они должны быть приняты в человеческую общину.

Учитывая состояние крайней дикости, в которой пребывает это племя,— говорилось далее в докладе,— необходимо взять тропи под защиту, в частности оградить его от всех посягательств со стороны. Комиссия предлагала выработать особый статут, который Великобритания рекомендовала бы Австралии и Новой Гвинее под контролем ООН.

Все эти предложения были приняты подавляющим большинством голосов, и в этот вечер наконец-то облегченно вздохнул огромный клан английских текстильщиков.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Чисто формальный процесс. Задача присяжных облегчена. Все хорошо, что хорошо кончается. Мрачное настроение Дугласа Темплмора. Френсис черпает надежду в самой безнадежности. Любопытные противоречия во взглядах судьи Дрейпера. «Новая эпоха становления». Оптимистические выводы, сделанные в кабачке «Проспект-оф-Уитби».

Второй процесс, поскольку страсти уже улеглись, начался в обстановке доброжелательного любопытства к обвиняемому. Теперь, когда все сомнения исчезли, убийство это стало казаться будничным, как и всякое убийство. Обвиняемому дружно желали успеха, так как еще свежа в памяти была та роль, которую он сыграл в эмансипации тропи. Надеялись, что прокурор примет во внимание доводы защиты и что присяжные проявят достаточно снисходительности. Заключались пари о характере будущего приговора. Некоторые заядлые спорщики отваживались ставить даже на полное оправдание. Причем ставки были немаленькие.

Леди Дрейпер старалась успокоить Френсис, она никак не могла взять в толк, что́ так угнетает ее подругу. Новый судья, говорила она, давнишний друг ее мужа. Да и прокурор тоже. Конечно, оказывать на них прямое давление сэр Артур не имеет права. Но он с полуслова понял, каково их отношение к процессу. А оно, судя по всему, было благожелательным.

И в самом деле, процесс носил чисто формальный характер. Было вызвано всего два-три свидетеля, так как предполагалось выяснить лишь обстоятельства убийства. Королевский прокурор, как и следовало ожидать, оказался не слишком строгим. Он сказал, что теперь уж нет сомнений в том, что было совершено убийство и что подсудимый виновен. Однако, принимая во внимание причины, толкнувшие его на преступление, равно как и тот факт, что в момент совершения убийства подсудимый еще не знал, кого он убивает — человека или животное,— обвинение не будет протестовать, если присяжные учтут эти смягчающие обстоятельства.

Адвокат мистер Джеймсон поблагодарил прокурора за

его снисходительность. Но тут же заметил, что тот был не совсем последователен в своих выводах.

— Обвинение признает,— сказал он,— что подсудимому в момент совершения убийства не была известна истинная природа жертвы. Но так ли следует ставить вопрос? Мы лично полагаем иначе.

Мы полагаем, что в момент совершения убийства жертва еще не являлась человеческой личностью.

Он помолчал, а затем заговорил снова:

— И действительно, потребовался специальный закон, определяющий человеческую личность. Потребовался также закон, дающий тропи право именоваться людьми. А уж одно это доказывает, что будут или нет тропи признаны членами человеческого общества, зависело отнюдь не от них: *только от нас зависело признать их людьми.*

Это доказывает также, что не одни только законы природы дают человеку право именоваться человеком: право это должно быть признано за ним другими людьми, для чего он должен пройти через своеобразное испытание, через своеобразный искус.

Человечество напоминает собой клуб для избранных, доступ в который весьма затруднен: мы сами решаем, кто может быть туда допущен. Его внутренний устав действителен только для нас одних. Вот почему было столь необходимо найти для него ту законную основу, каковая облегчила бы прием новых членов и позволила установить правила, равно обязательные для всех.

Само собой разумеется, что, пока тропи не были приняты в клуб, они не могли участвовать в его жизни, а члены его не были обязаны признавать за ними те привилегии, которые дает принадлежность к клубу.

Иными словами, мы не имели права требовать от кого бы то ни было обращения с тропи как с людьми, пока сами не установили, что они достойны так называться.

Объявить подсудимого виновным в этих условиях значило бы признать, что закон имеет обратную силу. Это было бы равносильно тому, что после введения уличного движения справа мы стали бы штрафовать водителей, которые до того ездили, придерживаясь левой стороны.

Это было бы вопиющей несправедливостью, противоречащей всем нашим юридическим нормам.

Вопрос совершенно ясен.

Тропи — и этим они обязаны обвиняемому — официаль-

но прнзнаны людьмн. Онн имеют все права человека. Ннчто им ие угрожает более. Ныие, когда существует официальное определенне человека, ничто также ие угрожает всем отсталым н дикнм народам.

Такнм образом, присяжные могут не опасаться, что призианне подсудимого иевнновным повлечет нежелательиые последствия.

И иет ин малейшего сомнення, что, призиав его внновным, оии совершнлн бы грубейшую ошнбку, чудовищную несправедливость.

И не только потому, что в то время, когда было совершено убнйство маленького тропн, его еще не признали человеческим существом, но н потому (а это главиое!), что имеиио гибель его привела к эманснпацин племеин тропн и внесла определенную ясность в наше законодательство.

Поэтому мы полностью доверяем присяжным и надеемся, что онн вынесут мудрый н справедливый прнговор.

Судья с добродушной улыбкой подвел итог преиням. Оставаясь в рамках спокойного беспристрастия, ои сумел дать поиять, что здравый смысл на стороне защитинка. Прнсяжиые почувствовали подлиниое облегчеиие. Посовещавшись иесколько мннут, они объявилн, что Дуглас полиостью оправдан, чем прнвели публику в восхищенне.

* * *

Прижавшнсь друг к другу, Френсис н Дуглас молча сндели в такси, которое увозило их на обед к леди Дрейпер.

Глядя иа нзмучеииое лнцо Дуга, Френсис ие решалась заговорить первой. Да и что она могла ему сказать? Она слншком хорошо поимала, что в его глазах, так же как и в ее собственных, подобный конец был скорее полупоражением, чем полупобедой.

Одиако прн Дрейперах оба старались держаться как ни в чем ии бывало. За столом, как и положеио, инкто не завел речь о том, что переполняло их сердца все эти дии. Только раз, без всякой связн с процессом, кто-то упомяиул имена прокурора и адвоката, сравиив их таланты, но не в ораторском нскусстве, а в нскусстве играть в крикет.

После обеда леди Дрейпер увела Френснс в гостиную, а Дуг н сэр Артур прошлн в курительную комиату.

— Внд у вас что-то не очень радостный,—дружески сказала леди Дрейпер.

— Дуг потерпел поражение,— ответила Френсис.

— Артур думает иначе.

— Правда? — оживилась Френсис.

— Артур очень доволен. Он считает, что достигнуто больше, нежели можно было ожидать. Ну, а сама я, дитя мое, смотрю на всю эту историю совсем иначе, чем вы. Дуг свободен — и слава богу! Это главное. Но вообще, зачем ему надо было начинать все это?

— Что начинать, Гертруда? — Дамы называли теперь друг друга по имени.

— Неужели вы думаете, что тропи будут счастливее, став людьми? Я, например, в этом глубоко сомневаюсь.

— Конечно, не станут счастливее,— ответила Френсис.

— Вот как! Значит, вы согласны со мной?

— Речь идет не о счастье,— сказала Френсис.— Помоему, это слово здесь не подходит.

— Жили они, не зная забот, а теперь их, наверное, начнут приобщать к цивилизации? — с ядовитым сочувствием осведомилась Гертруда.

— Должно быть, начнут,— ответила Френсис.

— И они станут лжецами, ворами, завистниками, эгоистами, скрягами...

— Возможно,— согласилась Френсис.

— Они начнут воевать и истреблять друг друга... Нечего сказать, мы сделали им прекрасный подарок!

— А все-таки подарок,— возразила Френсис.

— Подарок?

— Да. Прекраснейший подарок. Я тоже, конечно, много думала об этом последнее время. Вначале я очень страдала.

— Из-за тропи?

— Нет, из-за Дугласа. Его оправдали. Но он все-таки убийца, что бы там ни было.

— И это говорите вы?

— Да. Он убил ребенка, своего сына. И я ему помогла. И никакие хитроумные доводы ничего не изменят. Сколько ночей я проплакала. Кусала себе пальцы. Вспоминала свои детские годы. У моего крестного был автомобиль. В то время это считалось редкостью. Я восхищалась крестным, обожала его. И вот однажды папа рассказал нам, что крестного на месяц посадили в тюрьму. В узкой улочке дети играли в классы. Он даже не сразу понял, как это случилось, что он раздавил ребенка. Только выйдя из машины, он увидел размозженную головку... Толпа его чуть не растерзала.

А ведь он был не виноват. Папа говорил нам: «Он не виноват, любите его по-прежнему». И я любила его по-прежнему. Только с тех пор, когда он приходил к нам, я испытывала ужас... Конечно, я была девчонкой... Я ничего не могла с собой поделать. Сейчас я бы вела себя иначе. И все-таки... когда я думаю о Дугласе... я не могу удержаться... Наверное, я кажусь вам отвратительной, да?

— Вы меня просто несколько удивляете,— призналась Гертруда.

— Я и самой себе казалась отвратительной. А потом... Теперь я считаю, что все это прекрасно. Мне это объяснил Дуг. Я не все помню. Но, как и он, я чувствую, что это прекрасно. В этом страдании, в этом ужасе — красота человека. Животные, конечно, гораздо счастливее нас: они не способны на подобные чувства. Но ни за какие блага мира я не променяю на их бездумное существование ни этого страдания, ни даже этого ужаса, ни даже нашей лжи, нашего эгоизма и нашей ненависти.

— Пожалуй, и я тоже,— прошептала леди Дрейпер и глубоко задумалась.

— После процесса,— продолжала Френсис,— нам по крайней мере стало ясно одно: право на звание человека не дается просто так. Честь именоваться человеком надо еще завоевать, и это звание приносит не только радость, но и горе. Завоевывается оно ценою слез. И тропи придется пролить еще немало слез и крови, пройти через раздоры и горькие испытания. Но теперь я знаю, знаю, знаю, что история человечества не сказка без конца и начала, рассказанная каким-то идиотом.

«Вот, что я должна была сказать Дугу»,— подумала Френсис. Она думала также о том, что чем более сомнительны доводы собеседника, тем становятся тебе яснее свои собственные.

— Нет, это полное поражение,— с горечью проговорил Дуг, отхлебнув глоток портвейна.

— В вас говорит непримиримость молодости,— улыбнулся сэр Артур.— Все или ничего, не так ли?

— Но то малое, что сделано, ничего не дает. Да и сделано-то отнюдь не из благородных побуждений! А это еще хуже, чем ничего.

— Нет. Дело сделано. И это главное... Вам представился

прекрасный случай посмеяться надо мной,— добавил он, сдерживая насмешливую улыбку.

— Не понимаю, почему?

— Вам бы следовало послушать мой спор с лордом хранителем печати. Я говорил ему как раз обратное.

— Вы изменили свое мнение?

— Ничуть. И в этом-то самое забавное. С ним я рассуждаю, как вы. С вами — как он. Знаете, из всего этого можно извлечь весьма ценный урок.

— Интересно знать, какой.

— Не помню уж, кому принадлежат эти слова,— сказал судья: — «Было бы слишком прекрасно умереть за абсолютно правое дело!» Но ведь на свете таких «абсолютно правых дел» не существует. Даже в наиболее правом деле справедливость играет лишь второстепенную роль. Чтобы поддержать его, необходимы как раз те самые соображения, которые вы называете неблагородными. Почему это так, нам с вами отныне вполне понятно: человеческий удел двойствен в самой своей основе, не с нас эта двойственность началась, и мы постоянно пытаемся бороться против нее. В этой борьбе, даже в тех падениях и поражениях, без которых она немыслима,— величие человека.

— Что вы советуете мне теперь делать? — спросил его Дуглас.

— Ну, конечно, продолжать, старина,— ответил судья.

— Продолжать? Неужели, по-вашему, я должен убить еще одного тропеныша?

— Бог мой! Конечно, нет! — расхохотался сэр Артур, утирая слезы, выступившие у него на глазах.— Конечно же нет! Я имел в виду вашу профессию, вы, надеюсь, помните, что вы, как-никак, писатель?

Он с улыбкой протянул кипу газет, в них синим карандашом были отмечены места, представляющие интерес для Дуга. Это были отклики на опубликованную в «Таймсе» статью сэра Артура, комментирующую официально принятое в Соединенном Королевстве определение человеческой личности. Все газеты дружно нападали на данное определение. Но иного никто не предлагал. И точек зрения, с которых критиковался новый закон, было больше, чем летом цветов на лугу.

Один из французских парламентариев в своем интервью, данном корреспонденту газеты относительно нового закона, заявил, что он-де «слишком хорошо относится к своим

бритайским коллегам, чтобы вообще распространяться на эту тему». Его ответ рассмешил Дуга.— Ну и злобный тип! — произнес он.— Куда честнее прямо сказать, в чем их разногласия.

— Он, вероятно, не в состоянии этого сделать,— заметил судья.

— Почему же?

— Именно это я и пытаюсь объяснить в своей статье. Уже одно существование различных мнений ясно доказывает, что нам пока не дано знать истины (иначе не было бы поводов для разногласий), и все же несмотря ни на что мы стремимся найти эту истину (иначе о чем нам было бы спорить?). А ведь именно это в конечном счете и выражает закон при всей своей неполноте и двойственности. Стоит только начать спор, как наталкиваешься на неразрешимые противоречия.

— И вы думаете ваш французский коллега понимает все это?

— Нет. Чаще всего, как вы сами убедитесь, разногласия вытекают из соображений чисто эмоционального характера, а иногда просто из предрассудков. Они, и это вполне закономерно, не опираются и не могут не опираться на логические доводы. Но человеческий ум очень ловко обходит то, что его стесняет.

> «...В свое время Маркс и Энгельс доказали (прочитал Дуг в «Уэлш уоркер»), что человека от животного отличает его способность преобразовывать природу. Наши уважаемые парламентарии, которых трудно назвать коммунистами, потратили немало сил, чтобы в конце концов прийти, правда другим путем, к тому же самому выводу. Отдадим должное их доброй воле, но укажем по-дружески, что, приняв подобное определение, они открывают путь опасным заблуждениям».

— Но и здесь тоже ничего не объясняется,— заметил Дуг.

> «Само понятие религиозного духа,— писал другой обозреватель,— взятое в широком смысле слова, может оказаться полезным и плодотворным. Но, коль скоро оно легло в основу закона, вынесенного политическим органом, оно не имеет в наших глазах никакого значения».

— Ну, это уж слишком! — вскричал Дуг.— Ведь нужно просто решить, достаточно ли полно это определение, справедливо оно или нет. Какое отношение к делу имеет то, от кого оно исходит?

— Не волнуйтесь,— успокоил его сэр Артур.— Согласен, это нечестно, но кто из нас без греха?

Но Дуг уже весело смеялся, читая третью статью:

«В крайнем случае, мы могли бы согласиться с тем, чтобы данное определение базировалось на понятии религиозного духа, если бы понятие это было взято лишь в его христианском значении, но...»

Отложив газету, Дуг произнес без улыбки:

— Да, случай безнадежный.

— Вовсе нет,— ответил сэр Артур.— Вы подумайте только, что бы творилось сейчас, если бы мы попытались немедленно добиться более полного определения, в основу которого были бы положены отход, отказ, борьба — окончательный отрыв от природы.

— Такого определения никогда не добиться,— вздохнул Дуг.

— Почему же? Если только оно справедливо, его рано или поздно добьются,— возразил сэр Артур.— Истине — и это вполне понятно — не так-то легко одержать победу. Но в конце концов она торжествует. Впрочем, быть может, не в этом главное.

— Но в чем же оно, черт возьми?

— Главное в том, дружище, что сделали мы сами,— сказал сэр Артур.— Вы вселили беспокойство в души людей. Вы ткнули их носом в совершенно непонятный пробел, существующий миллионы лет. Кто это из французов писал недавно: «Мы должны заново пересмотреть все наши представления. Началась новая эпоха становления». Вы показали, что это действительно так, что до сих пор все строилось на песке. Осознав это, мы постарались на скорую руку, по мере сил своих, заполнить существующий пробел. В будущем это надо сделать лучше и полнее. Не все сразу пойдет как по маслу. Но вы стронули с места машину, а такую громадину уже не остановить.

На закуску сэр Артур предложил Дугу статью, напечатанную в литературном журнале «Гаргойл».

«Давно пора,— писал автор, известный своими исследованиями в области лингвистики,— давно пора покончить с этой глупой историей; я имею в виду — с тропи. Поистине жалкое зрелище являли собой наши лучшие умы, тратившие свои силы (и время) на эти лженаучные, никому не нужные проблемы, связанные с определением человека! Благодарение богу, отныне с этими проблемами покончено и, надо надеяться, навсегда. Обратимся, господа, к вещам куда более серьезным. Недавно вышел в свет совершенно необычный (автобиографический) роман, который даст вам более глубокий материал для размышлений. Настоятельно рекомендую этот роман вашему вниманию. В книге показано, как в психологии автора (пожелавшего остаться неизвестным) вскоре после того, как подростком он задушил свою мать с целью грабежа (или изнасилования), слова вдруг претерпевают магические изменения, приобретают значение ритуала. Автор, опоив читателя дурманящим напитком своего поистине неслыханного словаря, водит его по лабиринту сногсшибательных непристойностей, где после каждого поворота, окончательно сбившись с пути, мы обнаруживаем в некоей многозначительной мистификации во всей его остроте смысл нашего существования.

Естественно предположить, что человеческая личность определяется в результате именно этой изнуряющей погони за неуловимыми мифами. В противном случае, как объясним мы...»

Дуг поднял голову. Усталость, омрачавшую его лицо, как рукой сняло. Он дружелюбно и весело посмотрел на сэра Артура. Заглянув в курительную, Гертруда и Френсис с удивлением увидели, что их мужья от души смеются.

И вдруг Дугласу ужасно захотелось отвезти своих друзей, хотя бы на час, в кабачок «Проспект-оф-Уитби», в его толчею и клубы дыма, где музыка, песни, знаменитая коллекция — ссохшаяся голова индейца, причудливые сувениры о морских путешествиях, свадьбах, кораблекрушениях, коммерческих сделках, игре, приключениях — все прославляло радостную любовь людей к этому раскрепощенному миру, который они создали для себя и по своему подобию.

Мулен дез Иль
Ноябрь 1951 года

Послесловие автора

Итак, впервые на русский язык переведена моя книга.

Войти в литературную жизнь Советского Союза — немаловажное событие для французского писателя.

Естественно, что прежде всего я задал себе вопрос: правильно ли было выбрать именно этот роман для нашего первого знакомства? Можно ли по этой книге, столь фантастичной и столь не похожей на все написанное мной ранее, судить о моем творчестве?

После здравого размышления я решил, что можно. Ведь именно этот роман, хотя до его появления вышло уже четыре или пять моих книг, впервые, быть может, непосредственно затронул французского читателя, или, вернее, приобщил его к моим мыслям. В предисловии К. Наумова (на мой взгляд, мастерски написанном, вдумчивом и умном — да простят мне такой отзыв о чрезмерно хвалебной в отношении меня статье) правильно объясняется тот своеобразный перелом, который произошел в моем творчестве спустя несколько лет после окончания войны. И правда, этот перелом произошел еще до написания романа «Люди или животные?» Той же теме, теме определения человека, были посвящены написанные мной ранее два романа и несколько статей. По тому, как они были приняты, я понял, что мне следует написать нечто такое, что не допускало бы никаких недомолвок, что заставило бы читателя самого серьезно разобраться в этой проблеме.

Вот почему я написал не очень серьезный роман. На примере Рабле, Вольтера, Франса нетрудно убедиться, что серьезнее всего французы думают над проблемами, о которых им повествуют с улыбкой на устах. Французскому читателю нравится, когда автор как бы подмигивает ему,

говоря: «Не очень-то верь моим россказням». Он предпочитает, чтобы ему не навязывали уже готовые истины, а предоставлял право самому взвесить все «за» и «против», составить свое собственное мнение. Так, Кандид в повести Вольтера сильнее заставил французов задуматься, чем все ученые труды философов-энциклопедистов.

Вот почему, как справедливо заметил в своем предисловии К. Наумов, автор не делает выводов. Или, вернее, не делает окончательных выводов. Ибо, действительно, я пишу не для того, чтобы заслужить чье-либо одобрение, я пишу лишь для того, чтобы вселить дух беспокойства, я пишу для того, чтобы навести читателя на размышления. Окончательный вывод моих читателей, в зависимости от их наклонностей, заставил бы или бездумно принять мою точку зрения, или с презрением отвергнуть ее. И то и другое ничему не послужило бы.

Вот почему мне кажется небесполезным объяснить читателю, не знакомому с моими произведениями, некоторые мои мысли и взгляды, которые, мне кажется, в интерпретации К. Наумова порой могут быть неправильно поняты.

Так, например, автор предисловия не совсем правильно истолковал мою мысль, утверждая, что герой одной из моих новелл (некто Арно, который считал, что он ни во что не верит, и тем не менее погиб, прикрывая отход трех незнакомых ему бойцов Сопротивления) действует лишь в силу морального долга, лишенного всякого конкретного содержания: он не может обмануть доверия неизвестных ему людей, людей, которые с таким же успехом могли оказаться и фашистами. Арно неожиданно пошел за этими незнакомцами лишь оттого, что история, которую они ему рассказали и которую в ту минуту он, как ему кажется, вполне искренне называет «идиотской», на самом деле не является для него таковой. Она с необычайной силой пробуждает в нем чувство человеческой солидарности, за которую сражались бойцы Сопротивления, но которую сам Арно в течение четырех лет считал бессмысленной. Совершенно очевидно, что фашисты не смогли бы пробудить в нем это чувство, столь противоречащее всей их идеологии. И Арно никогда не пошел бы за ними. Следовательно, он приносит себя в жертву не какому-то абстрактному чувству долга, а вполне конкретному, осязаемому чувству человеческой солидарности, которое он вновь обретает вопреки своей воле.

Это очень важный момент, ибо путь, который прошла

мысль Арио за несколько часов, это тот самый путь, который прошел я сам в первые месяцы после поражения 1940 года.

Мне кажется необходимым также отметить: касаясь истории мохи тропи, К. Наумов безусловно правильно замечает, что, будь в признании тропи животными заинтересован не австралиец Ванкрайзен, а британские империалисты, последние сумели бы добиться другого определения. Но мне хотелось бы уточнить лишь следующее: приписывая мне мысль, что подобная парламентская комиссия, к тому же изображенная мною в достаточно ироническом плане, действительно способна выработать разумное определение, К. Наумов, видимо, недостаточно хорошо меня понял. Я как раз хотел показать обратное, и судья Дрейпер справедливо замечает: лишь воля всего человечества, а не какая-нибудь комиссия, пусть даже самая авторитетная, может в один прекрасный день дать окончательное определение тому, кого мы называем человеком.

Автору предисловия также кажется, что в моей интерпретации общепризнанность предстает критерием истинности. Нет, я вовсе не говорил этого. Я лишь хотел показать, что «критерий истинности» не существует вне человека, где-то в природе, и что он не определяется некой божественной волей. Люди, одни только люди — вот кто способен выработать критерий истинности. И уж, конечно, не на базе парламентской комиссии!

И можно ли только потому, что мое понимание человеческой солидарности не строится «на реальных связях и отношениях людей в процессе материального производства», говорить, что оно оторвано от практической основы. Можно ли сказать, что оно носит «абстрактный и формальный характер»? Это зависит от точки зрения. Тут я не собираюсь полностью оправдываться. Ибо я знаю, что на свете существует немало племен, чья человеческая солидарность строится не на материальном производстве, а на охоте, войнах или на фетишистских обрядах. Мне также известно, что сильнейшими узами, связывающими сейчас 300 миллионов индийцев, является не их отсталое сельское хозяйство, а ритуальная философия. Отрицая существование и такого рода солидарности, мы невольно поставили бы эти племена вне рамок современного человеческого общества; подобная концепция в настоящих условиях могла бы оказаться весьма опасной. Ведь если буквально понять утверждение, что

«именно в обработке предметного мира человек проявляет себя действительным как *родовое* существо», то новоявленный Гитлер или какой-нибудь Дрекслер, поняв это буквально, могли бы утверждать, что то или иное ничего не производящее, крайне отсталое племя, занимающееся лишь собиранием ягод и диких плодов, имеет меньше прав принадлежать к человечеству, нежели пчелы, дающие мед, или бобры, возводящие каналы и плотины. Ясно, куда это могло бы привести.

Вот почему упрекать меня в том, что в определении человека я ставлю в один ряд (выражаясь словами Ленина) «живое дерево и пустоцвет»,— это, к сожалению, значит действительно признавать существование различных ступеней и иерархии человечества в зависимости от той или иной степени умственного развития народов. А именно против такого смешения я и выступаю. Согласен, пусть наиболее развитые народы ведут за собой прочие, даже выступают в роли преобразователей! Но смотрите, как бы это не превратилось в дискриминацию! Как родовое существо, какой-нибудь каннибал равен Толстому. В противном случае мы вынуждены были бы признать, что у Толстого есть права над каннибалом, то есть один человек имеет право распоряжаться другим человеком, и мы впали бы в расизм.

А я как раз хотел показать, что сама идея прогресса, если только ее не разграничить с идеей иерархии, может привести к прискорбной ошибке. Естественно, мне могут возразить, что подобная опасность не существует в социалистическом обществе. Но, во-первых, к сожалению, две трети человечества все еще придерживаются старых концепций, весьма далеких от идей социализма. Поскольку в этой части света марксизм как таковой принципиально отвергается (инстинкт самосохранения) и поскольку (я как раз только что говорил об этом) преднамеренное извращение взглядов Маркса может привести к выводам, прямо противоположным его собственным, небесполезно поэтому выдвинуть в борьбе с расизмом такое понятие «человеческого», которое не только было бы приемлемо для немарксистов, но и способно устоять против всяких попыток извращения. Поскольку сосуществование предполагает свободный обмен мнений, а ослабление международной напряженности — взаимопонимание, было бы также весьма полезно найти общую систему воззрений, на которые могли бы ссылаться как марксисты, так и представители христианской мысли или по-

зитивистского рационализма. Меня не удовлетворило бы, если бы моя книга была принята в Советском Союзе как произведение, имеющее значение только для Запада, где «литература проповедует моральный нигилизм, сеет отчаяние, оплевывает прогресс». Мне кажется, что она может, а возможно, и должна иметь значение и в социалистической стране. Диалектика — это не система жетонов, которые опускают в счетную электронную машину, безошибочно подводящую итоги. Диалектика — область человеческого ума, которому свойственны слабости и заблуждения. Тяжелые испытания недавнего прошлого показывают, что даже в самой лучшей системе взглядов всегда могут произойти серьезные отклонения, которые трудно, а может быть, и невозможно обнаружить и вскрыть при их возникновении из-за отсутствия критерия, существующего вне этой системы, или, вернее, предпосланного этой системе. Ибо каждый человек — прежде всего человек, а уж потом последователь Платона, Христа или Маркса. По-моему, в настоящий момент гораздо важнее показать, как, исходя из такого критерия, могут найтись точки соприкосновения между марксизмом и христианством, нежели подчеркивать их расхождения. Если моя книга хоть в какой-то степени будет способствовать этой цели, я буду считать, что мне удалось внести свой скромный вклад в дело, за которое я борюсь уже десять лет: в дело лучшего взаимопонимания между народами, а следовательно, в дело мира.

Веркор.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Веркор

ЛЮДИ ИЛИ ЖИВОТНЫЕ?

Редактор *В. И. МАРКИНА*
Технический редактор *А. Н. Никифорова*
Корректор *Е. А. Цыпенок*

Сдано в производство 11/III 1957 г.
Подписано к печати 9/VII 1957 г.
Бумага 84 × 108$^1/_{32}$=3,6 бум. л. 11,7 печ. л.
Уч.-изд. л. 11,8. Изд. № 12/3309.
Цена 5 р. 90 к. Зак. 2348.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва, Ново-Алексеевская, 52.

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

5 р. 90 к.